

Александр Генис
Трикотаж

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИВАНА ЛИМБАХА



Александр Генис
ТРИКОТАЖ



Александр

Генис

Три-

КО- ТАЖ



Издательство Ивана Лимбаха
Санкт-Петербург
2002

УДК 882-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Г 34

Г 34 **Генис А.** Трикотажд. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2002. – 96 с.
ISBN 5-89059-017-0

Новая книга известного писателя («Вавилонская башня», «Иван Петрович умер», «Довлатов и окрестности») представляет Гениса «блестящим рассказчиком» (Т. Толстая). Под его пером роман воспитания стал глубокой и смешной теологической фантазией, написанной плотной – «трикотажной» – прозой.

© А. А. Генис, 2002
© Ю. С. Александров, макет,
художественное оформление, 2002
© Издательство Ивана Лимбаха, 2002

Со- дер- жание

	Бабушка	9
	Коля	18
	Субботник	25
	Атеисты	35
	Таблетка от танков	46
	Вести с Марса	55
	Маугли	64
	Салат оливье	72
	Пурим	81
	Deus ex machina	88

**Посвящается
Д. Рамаданской**

Ба- буш- ка



Я заплакал, когда она умерла, хотя в ее возрасте трудно было сделать что-нибудь умнее. Как только это случилось, начались сны. Я знал, что мне от них не отделаться, пока не напишу все, что о ней помню.

Я привык относиться к своему подсознанию снисходительно, как к разжиревшей таксе. Слепое и глухое, оно почти ничего не знает об окружающем. Из всех органов чувств у него одна интуиция. Она доносит ему, что происходит снаружи, но сведения эти приблизительны и недостоверны. На все оно реагирует невпопад и путая. Больше непонятливости меня раздражает его медлительность. С женой оно познакомилось лет через пять, с сыном — через два, о коте до сих пор не знает. Зато на смерть отзывается мгновенно, и покойники оказываются в моих снах быстрее, чем в могиле. Видимо, о смерти оно знает больше моего. Оно ведь еще не совсем родилось. Одной ногой, такой необутой амебной ложноножкой, оно еще по ту сторону.

Во сне больше всего хлопот доставляют местоимения. Никогда не уверен, что говоришь от первого лица. Когда мы переехали в населенный азиатами городок, мне стали сниться японки в распахнутых кимоно. Для моего простодушного, как пельмени, подсознания репертуар был чересчур эксцентричным, и я решил, что на новом месте мне снятся чужие сны. Если это так, то как должны были поражаться соседи, видя во сне Хрущева.

Первый раз бабушка появилась на вокзале. Мы провожали ее в Луганск — она ездила туда к своей маме. Во сне бабушка шла по перрону, становясь все меньше. Пошел

дождь, и она спряталась под бетонный козырек газетного киоска. Он скрыл ее целиком — ростом бабушка была с двухлетнюю девочку.

Ее маму я немного помню. На ней было платье с блеклыми цветами, и называть ее следовало тоже бабушка — чтобы не подчеркивать возраст. Она родилась в деревне Михайловка, никогда не служила, семью держала в страхе. Обе дочери, сами уже старухи, проводили с ней каждое лето. У нас она не открывала рта — ее озадачивало меню. В их южном крае всегда ели борщ. Его варили из всего, что попадется под руку: из мяса, грибов, утки. Борщ никогда не кончался. Он плавно перетекал из одного в другой, даже кастрюлю не мыли.

Пока я пишу эти строчки, вокруг скамейки бегают бурундуки. День теплый, но осень уже поздняя, и он носится, не обращая на меня внимания. Я для него слишком неповоротлив — и как угроза, и как конкурент. Бурундук живет в другом ритме, опережая меня не только в беге, но и в неподвижности. Это выяснилось, когда весной мы грелись с ним на солнце. Но сейчас дело идет к зиме, и он вкалывает, как персонаж ненаписанной басни. Возле норы желуди кончились, и ему приходится описывать все более широкие круги. Возвращаясь, он часто встает во весь рост, чтобы узнать окрестности. Став одной из них, я боюсь уйти и лишиться его примет.

Борщ бродит и по моим жилам. Когда я был еще без зубов, бабушка научила меня сосать смоченную в борще салфетку. Так она воевала с сомнительной наследственностью. В Луганске бабушка рассказывала, что у нас борщ едят не всегда. Однажды она даже сварила своим бульон, но никто не смог его есть. Борщ — огород в тарелке, а тут голая курица плавает — как утопленница. Эта палаческая простота внушила отвращение, и бульон вылили в выгребную яму. А ведь родня моя отличалась крестьянской скупостью. Все покупное бабушка ценила больше себя. Любая механическая вещь казалась ей бесценной. Например, будильник —

одна из ее немногих самостоятельных покупок. Он был ей совсем не нужен. Она никогда никуда не торопилась. В школу бабушка ходила меньше года — от задач она плакала. Когда-то бабушка работала на фабрике, но и тогда не научилась приходить по гудку. И все же бесполезный будильник она любила, как кошку. Когда дело доходило до битья посуды, бабушка уносила его в свою каморку, чтобы вместе переждать бурю.

Ну все, бурундук утихомирился в норе — до апреля у него мертвый час. Мне тоже пора — отсчитывать круто уходящие вниз ступеньки. Девять — нога на крепкой доске. Восемь — все еще широко, но носок зависает. Семь, шесть — стертая покатошь. Пять — уже боком. Четыре, три, два. Чтобы выдержать паузу, надо вжаться в черную сырость стены. Два, вздох, один. Приехали. На этот раз лес почти зеленый. Стволы угадываются по аккуратным загогулинам листвы. Хвойные вдалеке: палки с небрежными щетками. Но тропа очень реалистическая. Юлит, не показывая, куда ведет, и корни цепляются, как настоящие. Идти надо долго, и это трудно — как стоять зажмурившись. Ведь нужно держать в голове весь пейзаж, даже тот, что сзади. От усталости торопишь события, вытягивая шею шагов на десять. Впереди открывается пруд. Черный, с кувшинками — лесной Стикс. Смахивает на Васнецова, но я делаю вид, что не узнаю. У берега сучок плывет против ветра. Значит, черепаха — Харон. Прыгнул на панцирь, сжался, как воробей, — и уже на другом берегу. Там ствол развален вроде шатра. Внутри темно, из мрака появляется сундук. Не оригинально. Тем более что я его узнал. Тут не видно, но он громадный, темно-зеленый. Сколочен из чего-то военного. Стоял у нас на антресолях. В нем лежали ненужные (как странно) игрушки. Сундук растаял, осталась книжка-лилипут, сшитая из промокательной бумаги.

Перьечистка! Она чистит копейные перья для деревянных ручек. Их макают в чернильницы-непроливайки. Но это одно название, на самом деле всегда выливаются, поэтому их носят в отдельных мешочках: завтрак для чернильных

эльфов, скорее — троллей (мерзкие твари). Расщепом перья захватывают набухшие бумажные волокна. Вот их-то и обтирают страницей-промокашкой. Физиология письма. Туалетная бумага тетради. Сомнительный дар. На что он мне? А я ей? Может, она считает себя книгой и ждет, когда ее прочтут? Но там одни отходы производства — чернильная слизь, оставшаяся от написанных слов. А может, это чудо? Претворение духа в тепло, пусть и грязное.

И все же зачем я ей? Сидит, ждет. Нахохлилась, листочками дрожит, лиловый ежик. Шершавая мазохистка. Ей нравится, когда перья вытирают об нее ноги. Для нормальной книги в ней многовато тактильности. Противная, мурашки от нее, как от мела по доске (плохого, окаменевшего, а не жирного болгарского, который наши профессорши приносили с собой в сумке). Ага, вот и резюме: вспоминай, что колется. Культуристы говорят, что растут только разорванные мышцы.

Теперь можно обратно. Но это легко: раз-два — наверху. Здесь столько лишнего, что даже мутит, но с этим быстро свыкаешься, если не оборачиваться слишком резко. Главное — добыча: перьевистка из оставшегося от переезда ящика защитного цвета с угловатой надписью: «Верх».

Когда-то мы жили в Рязани. Я даже там родился, но ничего не помню, кроме проходного двора. Куда он вел, мне уже не узнать.

От Рязани у меня осталась бабушка, которую мы так и звали: рязанская, чтобы отличать от другой — киевской. В сущности, они обе были из Киева. Их даже звали одинаково — Аннами. Одну — Анна Соломоновна, другую — Анна Григорьевна. Разделяли их национальность и улица Чкалова.

Еврейская бабушка жила в маленьком доме, русская — в большом. Черный, уродливый. Я плохо понимал его устройство. Знаю только, что кухонные окна выходили во двор. Как только мужья уходили на завод, жены затевали котлеты. Мясорубок еще не было, и фарш рубили секачом. Канонада доверху наполняла каменный колодец.

Все это было в тридцатые годы. Маленьким я любил это время и хотел в нем жить — как Хоттабыч. Из тридцатых к нам дошла узорчатая скатерть с бахромой, скорее — ковер-самолет, чем самобранка. Долго я не верил, что бывают вещи красивее.

Теперь мне кажется, что тогда все мужчины походили на Булгакова. Дедушка на фотографии — вылитый Булгаков: редкие волосы, пристежной воротничок. Зато бабушка — украинская Кармен. Черные волосы до колен, белое, как у панночки, лицо, дикие, широко расставленные глаза. Я видел такие на снимке: африканский буйвол перед атакой. У него были бабушкины глаза — бесстрашные до сумасшествия. Она никогда не сдавалась.

«Вы — кремень, а я — булат», — говорила бабушка моему отцу, путая незнакомые пословицы. После войны отец торговал камешками для зажигалок. Делали их, насколько я понимаю, из кремня.

До семнадцати дед не умел читать, но в конце концов закончил рабфак, работал инженером, играл в преферанс. Он родился в румынском городе Браилов, и звали его Филипп Флоре, но бабушка упорно считала его, как всех хороших людей, русским. Тем более что в Луганске дедушкина фамилия стала Бузинов. В анкете спрашивалось: «Як твоє прізвисьце?» Не зная украинского, он написал детскую кличку — Бузина. В тридцать восьмом дедушку расстреляли как румынского шпиона.

Сегодня река вынесла на берег борт корабля. Судя по еле заметному изгибу, целое судно было гигантским — ковчег. В странствиях кожу его покрыла жемчужная сыпь ракушек. Непонятно: состарился он за работой или лежа на дне. Доски пригнаны так, что между ними не влезает грифель карандаша. Завидная работа. Соединять части труднее всего. Знатоки тела, объяснял мне скульптор, следят, чтобы не было швов между верхом и низом. На суше корабельный остов несуразен, как выброшенный кит. Я видел такого на Рижском взморье. Он был напрочь лишен формы. Особен-

но после того, как тушу искромсали набежавшие из Слоки цыгане.

Мне нравится жить у реки. Жирно поблескивающая рябь мешает воде отражать. Не стекло, а живая ткань – влажный эпителий. Ее полотно расписано узорами – темные разводы, блестящие штрихи, лужи глади. Раньше мне хотелось прочесть реку, теперь я почти разлюбил читать. На воде сидят утки. По сравнению с нами, им доступны две лишние стихии, как ракетам «вода–воздух». Зимой на Гудзон прилетают глупые канадские утки. Они умеют плавать не просыпаясь. Однажды мы с Гариком наткнулись на таких. Всю воду замусорили булкой, но они только качались на зыби. Мы не отставали от птиц, пока из кустов не вывалился человек с ружьем. От хохота он долго не мог объяснить, что мы кормили его резиновых уток.

Бабушка тоже любила все правдоподобное. Непонятному не было места в ее мире. Стихийный реалист, она плакала, когда история не кончалась свадьбой. Но больше всего ее огорчали картинки, которые отец вырезал из прогрессивных польских журналов. С журналами он обращался как цыгане с китами. Не зная языка, отец читал по азбуке Брайля: водил пальцами по строчкам, пока не наталкивался на запретную фамилию – Бухарин! Потом вырезал Бриджит Бардо – для себя и Гогена – для гостиницы. На репродукции бабушка смотрела не мигая, и, когда над диваном появилась натурщица с бордовым задом, бабушка сожгла картину вместе с рамкой.

Я никогда не видел, чтобы к искусству относились так трепетно. По-моему, бабушку понимал один Хрущев. Для обоих связь живописи с жизнью была слишком прямой: уничтожая дурную копию, они спасали оригинал.

Больше всех искусств бабушка ценила вышивку. Она и меня научила вышивать цветы шелковыми нитками. Они назывались нарядно, как пирожное: мулине. Последняя бабушкина работа лежит у меня на столе. Она изображает природу: на малиновом бутоне соловей с чертами петуха.

Эту вещь невозможно применить по назначению, потому что у нее нет назначения. Чистое, как у Набокова, искусство. Резервуар бесполезного труда.

Бабушка научила меня вышивать, я ее — читать книжки. Раньше ей это не приходило в голову. Писала она как слышала, то есть плохо. Зато читала с наслаждением, иногда до утра. Пока автор не отклонялся от реализма, экзотичность происходящего ее не смущала. Бабушкиным любимцем был король чикагской биржи Каупервуд. За его карьерой она следила на протяжении всех трех томов Драйзера. Бабушка называла его Теодором. Она редко утруждала себя фамилиями: Лондон был для нее Джеком, Хемингуэй — Эрнестом. Незнание предмета ей никогда не мешало — она охотилась за эмоциями. Если бабушка узнавала описанные автором чувства, то слепо верила всему остальному. Исключения составляла явная чушь. Впервые мы разошлись на «Голове профессора Доуэля». Другой моей юности Шульман хотел поменяться с ним местами, но мне эта живая голова всегда не нравилась и снилась до тех пор, пока я не стал вставлять несчастного профессора во все, что печатаю. Так я выяснил, что снится мне лишь то, о чем я не пишу. Литература — сон разума, и мне удастся заполнить страницу лишь тогда, когда я забываю, что делаю.

Не забыл ли я сказать, что маленьким любил бабушку больше всех? Ради нее я часами прижимался лицом к оконному стеклу, надеясь вырасти, как все порядочные люди, курносым. Не то чтобы бабушка не любила евреев, но она всегда о них помнила.

Говорят, с возрастом национальные признаки проявляются острее. Может, потому, что все остальные слабеют. Когда я в первый раз бросил курить, то страдал отчаянно — до галлюцинаций. Через несколько лет опять закурил — и опять бросил, но уже без особых мучений. Сперва обрадовался, решив, что у меня воля окрепла, а потом сообразил, что это страсти остыли.

С евреями, однако, всегда сложно. Просто с ними было только на футболе. В нашем классе играли по бразильской системе: четыре—два—четыре. Нападающими были Сенин, Медведев, Устинов и Попов. В полузащите играли полуевреи — Гриша Иври и я, в защите — Якобсон, Гильдин, Канторович и Карпус. На воротах стоял безнадежный Изя Ассинас. На контрольной пирамида переворачивалась. Последние становились первыми, и все норовили списать у вратаря.

Возможно, я слишком много места уделяю национальному вопросу, но это оттого, что у меня их два — по одному от каждой бабушки. Как ян и инь, они стоят над моей душой, дополняя друг друга.

Однажды я попал в буддийский монастырь. Лес, горы, каменный будда под американским флагом. Почти все буддисты — евреи. Самый толстый, похожий на карикатуру, держал на койке книжку — «Каббала и деньги». Настоятеля звали Лурье. По двору он ходил в джинсах, но службу вел в черной робе, помахивая особой мухобойкой — древним символом власти. Лурье учил, что нет лучшего часа, чем тот, который ты не заметил. В монастыре с этим проще. Занятые либо простым, либо непонятным, все тут давали жизни течь так, как будто их нет. Тем, кто обнаруживал, что и в самом деле нет, давали мухобойку.

Как все нормальные, а тем более ненормальные люди, бабушка ненавидела перемены. Новое казалось ей развратом. Она любила шить, но больше перелицовывать. Прогресс доводил ее до столбняка. Бабушка рыдала, когда нам проводили горячую воду. Явление стиральной машины ввело ее в ступор. Она дорожила всем, что повторяется, включая болезни. Она любила искусственные цветы и все, что рифмуется.

В последнюю встречу бабушка отдала мне тетрадь со стихами — своими и списанными. Первые — будто из XVIII века:

Пока сердце бьется сильно,
Ух! как хочется пожить,
Но когда оно заныло,
Так и хочется тушить.

Чужие стихи она брала где придется, отдавая предпочтение переводам с украинского:

Героя смел и ясен взор,
Зовут его теперь шахтер.

По-украински бабушка говорить не умела. Мне кажется, она не знала, что такой язык существует. В ее дремучей, как летопись, геополитике Украина включала в себя Россию и предшествовала ей. Империя была ее внутренним органом, вырабатывающим чувство государственной принадлежности. Латышей она соглашалась считать соотечественниками и не прощала, когда тех это не устраивало.

Что такое политика, бабушка не знала, но это не мешало ей обладать твердыми убеждениями. Сталина она ненавидела и считала виноватым, когда подгорали пироги. Хрущев был своим – как Тарапунька и Штепсель. Остальными она и не интересовалась. Советская власть кончалась для нее на Шульженко. В ней было таинственное, как телепатия, чувство границы. Все вокруг нее называлось родиной. Она так туго вписывалась в устройство бабушкиной души, что они не смогли расстаться.

– Умру где Шевченко, – сказала она, отказавшись ехать в Америку.

Никто не знает, что она имела в виду, потому что скончалась бабушка за границей, в Риге. И похоронили ее, так уж вышло, на еврейском кладбище.



Несмотря на фамилию, Коля Левин был второгодником. Он не мог вызубрить таблицу умножения, хотя учил ее во втором классе, и в третьем, и в четвертом, и в пятом — четыре раза.

Из таблицы умножения Коля помнил только то, что множилось на десять. В остальных случаях он старался угадать. Из-за этого Коля так и не научился играть в карты и мучился со сдачей. Скрывая свой несчастный изъян, Коля изобретательно изворачивался, но таблица умножения, как тугая авиационная резина, из которой получались лучшие рогатки, возвращала его к себе.

Меня прикрепили к нему для подтягивания, но умножение нам было ни к чему. Мы интересовались ракетами. Делалось это так. Рулончик фотопленки, которая тогда еще горела, заворачивался в фольгу от шоколадки. В хвост вставлялась спичка серой наружу. Когда ее поджигали, ракета поднималась на реактивной струе, пролетала метров пять и умирала, крутясь на месте. Стараясь удлинить полет, мы сооружали проволочные стропила — они давали ракете разогнаться и могли нацелить ее, скажем, в окно, а не под кровать. Толку от этого было немного, но экспериментировать мы не переставали.

Воздух — счастливая стихия: невидимая, веселая, легкая. Даже бумажный самолет кажется в ней грузным, и то, что воздух дружески держит его на плечах, казалось завидным — ангельским — подарком.

Мне нравился в ракетах полет, Коле — взрыв. Взрыв ведь не просто ускоряет разрушение, он придает ему космичес-

кий характер. Взрыв не сопоставим со своей причиной – как Big Bang. Взрывная волна освобождает пленный дух. Переставая быть, вещь салютует небу. Взрывное усилие отличается от волевого, как праздники от будней. Накопленное трудом бытие мгновенно уравнивается своим ликующим отрицанием. Решая этот пример, мы получаем свободу столь чистую, что ее нельзя пустить в дело. Во всяком случае – в мирное время.

Ломать, конечно, не строить, но Коля, любя и то и другое, не жалел труда. Разнести склеенный из ломких реек планер казалось ему так же интересно, как целую неделю над ним трудиться. И только невежество спасло Колю, когда он бросил в канализационный люк зажженную шашку тринитротолуола. Для взрыва нужен детонатор, о чем я знал из Жюль Верна, а Коля нет, пока я не дал ему книгу. Она нас окончательно сдружила. Я копировал карту «Таинственного острова», Коля – рецепт нитроглицерина (не все знают, что для этого достаточно смочить глину смесью азотной кислоты с серной).

Уже после суда, женитьбы и армии Коля держал под кроватью чемодан динамита. Но сперва он обходился бумажными лентами с пистонами, которые пугали мою бабушку. Потом появился настоящий порох. Коля крал его у отца, у которого он изредка гостил после того, как родители развелись. По профессии Колин отец был браконьером. Коля даже угощал меня лосятиной, а однажды показал добычу – ванну рубинового мяса. Его хватило на сто банок домашней тушенки. Раскурочивая украденные патроны, Коля высыпал на стол крупный порох. «Бездымный», – радовался он.

Порох требовался для акции против соседа, повесившего свой замок на общий сарай. В нем хранились лишние, у всех одинаковые вещи: продавленные диваны, непременные лыжи, зеркала, помутневшие от увиденного.

Готовясь к бою, Коля собрал полный спичечный коробок. Его хватило, чтобы заполнить все брюхо ржавого зам-

ка. Такими запирали наши дивные амбары. Вместо окон у них были стройные кованые двери — по дюжине на этаж. Соединенные вязью переулков без имен и названий, бордовые амбары толпились от реки до базара. На этом ганзейском пяточке кончалось средневековье и начинался Запад. В ясные дни, снилось мне, отсюда можно было увидеть Швецию.

Бикфордова шнура у нас не было, но мы обошлись, намочив бельевую веревку в бензине для зажигалок. Взрыв удался. От замка не осталось ничего, дверь снесло, сарай тоже. В восторге мы бежали с места происшествия, а когда отдышались, обнаружили, что две крупницы пороха обожгли Колину роговицу, обеспечив его особой приметой. Конечно, хорошо, если бы она пригодилась для нашего рассказа, но вряд ли. Колины преступления оставались нераскрытыми, а когда его поймали, никаких примет не понадобилось вовсе. И все же пусть эти мелкие, как мушиные следы, крапинки останутся на странице, защищая ее от целеустремленности.

Ненужная деталь — гвоздь, на котором повесилась логика. Что еще не страшно, ибо логика не фатальна. Она приходит и уходит, а жизнь остается, предлагая нам выбирать между разумным и действительным. Все необъясненное нелогично, но это не мешает ему существовать. Чжуан-цзы советовал не пририсовывать ноги змее, даже если мы не можем поверить, что она обходится без них.

Бездельные детали — мука авторского сознания. Они привязчивы, как незавершенный аккорд. Язык без конца ощупывает их, словно дупло в зубе. Автор не может ни оторваться от безработного эпизода, ни пристроить его к делу. Язва ненужного разъедает бумагу, но избавиться от него еще никому не удалось. Когда я впервые решил испечь пирог, мне быстро удалось соорудить белесый гробик с начинкой. Уже смазывая тесто яйцом, я заметил дырку меньше шляпки гвоздя. Стремясь к совершенству, я стянул края отверстия, чем удвоил число дыр. Повторил опера-

цию — их стало больше вчетверо. Сражаясь с геометрической прогрессией, я сам не заметил, как параллелепипед стал колобком. С тех пор я не пеку пироги и собираю дырки.

Когда мы подросли, выяснилось, что Коля пользуется успехом. Большеголовый и низколобый, он походил на красивого питекантропа из нашего Музея природы. Коля нравился фабричным девицам — в отличие от меня. Отвечая барышням взаимностью, я волочился за ними, шипя от ненависти. Бесформенные, как тюлени, они носили пронзительно короткие юбки, сразу за которыми, впрочем, начинались теплые штаны немарких оттенков. Коле они позволяли все, мне — ничего, и я вечно ходил с расцарапанными руками.

— Знаешь рагеров, — говорила мне одна из кредитно-учетного техникума, — это мы.

Я не знал, но терпел, понимая, что на техникум надежд все-таки больше, чем на волооких еврейских старшеклассниц, которых полагалось водить в филармонию.

Коля туда не ходил. Он не интересовался искусством. Он любил технику и крал мопеды. Коля не мог устоять перед всем, что движется. Он часто уговаривал меня не тянуть лямку жизни, а дожив до тридцати, врезаться на мотоцикле в стенку. Мотоцикла у него, правда, не было, но однажды он привез из Пярну эстонский «студебеккер» без тормозов. Коля клялся, что по дороге ни разу не остановился на светофоре.

Я не участвовал в его приключениях. Мне хватало доставшегося от брата пудового велосипеда, который назывался трофейным. Возле руля, на шее, виднелся грубый шрам от сварки. Велосипед был моей первой и, наверное, последней любовью. Все, что сложнее вилки, мне дается с трудом. Я ненавижу механизмы, начиная со складного зонтика. Но велосипед — дело другое. Он воплощает меру и охраняет справедливость. Особенно в холмистой местности, где ветреная радость спуска благоразумно предвещает похмелье подъема. К тому же вверх ехать куда дольше, чем

вниз, что и понятно. Счастье мимолетно, иначе б нам его не выдержать.

Господи, где то утро? Не жарко, часов восемь, мне двадцать пять. По дороге на работу накатывает обжигающая, как прорубь после сауны, схватка счастья, предвещающего нужное будущее. Мне досталось больше, чем просил, но меньше, чем хотелось.

Еще картинка, как цитата из Чуковского. На полу играет сын, жена возится с шитьем. Дальше надо лезть в прошлое. Скажем, восемнадцать, первые пьянки с их творческим пафосом. Тогда же – весенний огурец. Мы растянули его на целый день в пустынных дюнах взморья. Кроссворд – мы разгадывали его, когда я забрался к родителям в постель. Мне от силы двенадцать. А вот уже десять. День рождения, грипп, но тут мама приносит из академической библиотеки тома Брема с ласково льнущей к рисункам папиросной бумагой. Дальше – ничего, в другую сторону – тоже. Только привычная зависть к пропавшему времени.

Я обходился своим трофейным велосипедом. Мулы мопедов мне были ни к чему. Коле, впрочем, тоже. Воруют ведь что попало. Запах чужого будит чувственность и пьянит, как весенний ветер. Я знаю, что у каждого писателя был блатной учитель жизни, но мне не повезло. Того, кого я знал, звали Тайгой. Он унес из интерната глухонемых мешок глобусов. Мне так и не удалось его понять, потому что, считая «бля» союзом, он не справлялся с грамматикой. Точно так же говорили начальник рижской тюрьмы, за дочкой которого успешно ухаживал Шульман, и главнокомандующий Прибалтийским военным округом со смешной для генерала фамилией Майоров. Его жена учила нас выразительному чтению.

Склонность к технике помогла Коле с незаконченным (мягко говоря) образованием устроиться на телефонную станцию монтером.

В те времена каждому было место. Люди ученые шли в сторожа, наглые – в вахтеры, корыстные – в букинисты. Мой пунктуальный знакомый гасил свет в витринах. Дру-

гой охранял кровать, на которой однажды спал Ленин, третий коллекционировал антиквариат, проверяя счетчики. Брат мой служил окномоем, я – пожарным. Сильные поэты работали могильщиками, слабые – в саду, хитрые – в архивах. Сектантов брали в зоопарк, отказники разгружали вагоны. Любовно оглядывая эту деловитую, как в «Незнайке», компанию, я понимаю, что наш КПД был не больше, чем у паровоза Черепанова, но Коля и тут выделялся: пользы он не приносил решительно никакой, вред же от него был весьма очевидным.

Телефон Коля не мог починить, потому что не знал, как тот устроен, но это его не останавливало. Коля любил технику безвозмездно. Ему вовсе не нужно было, чтобы она работала, а если она это все-таки делала, Коля не оставлял ее в покое, пока она не переставала.

Работой Коля дорожил. Добравшись до очередного телефона, он разбирал все, что откручивалось, и подолгу смотрел на детали. Потом потягивался и веско говорил: «На станции». «Токи Фуко», – вежливо добавлял я, если составлял ему компанию.

Коле давали на чай, и, став на ноги, он задумал жениться, не дожидаясь восемнадцати. Но тут случилась катастрофа. Однажды, когда Коля, отослав хозяйку за бутербродом, мирно трудился над телефоном, его взгляд упал на рояль. Под нотами лежали десятки.

Когда я вновь встретился с ними в Америке, они показались душераздирающе маленькими, но тогда в десятирублевой купюре еще звенел червонец. Из нее выходило три поллитра или пива без счета. При этом десятка была предельной суммой. За ней начинались взрослые деньги, вроде двадцатипятирублевого билета, который ни на что не делился и откладывался на пальто.

Увидав столько денег, Коля не растерялся. Не мешкая, он сгреб их в кулак и помчался к двери, свалив в коридоре хозяйку с тарелкой. Подскальзываясь на снегу, Коля бежал по рельсам, пока не догнал трамвай, увезший его в дале-

кий Межапарк. Только там Коля пересчитал десятки: их было тринадцать. Сперва он решил справить свадьбу, но, затаившись минут на двадцать, передумал и принялся тратить. Его первой покупкой стал карманный вентилятор. На холодном ветру не удавалось понять, хорошо ли он работает. Чтобы проверить, Коля отправился в кинотеатр «Рига», украшенный вопреки названию гипсовыми пальмами. В зале было душно, но вентилятор так ревел, что Колю пригрозили вывести. Устраняя дефект, он разобрал аппарат на ощупь, но в темноте потерялась батарейка. Со злости Коля ушел из кино, так и не узнав, чем кончился латышский боевик «„Тобаго“ меняет курс».

Десяток оставалось еще много, и он пришел ко мне за идеями. От разговоров нам захотелось пить, и мы купили самое дорогое – малиновый сироп с двояродной болгарской этикеткой. Коля хотел открыть бутылку по-пиратски – отбив горлышко, но она раскололась по ватерлинии. Верхней частью Коля сильно порезался, а то, что осталось на донышке, не лилось. Вымазанный кровью и сиропом, Коля стал походить на упыря, и мы решили продолжить разгул, когда он отмоется.

Дома его, однако, ждала милиция. В чужой квартире Коля оставил сумку с казенной отверткой и личными вещами – противогазной маской и бульонными кубиками. Там же лежало удостоверение с Колиной фотографией и номером рабочего телефона. Звонить, впрочем, было неоткуда, и в участок пострадавшая добралась пешком.

Только тридцать лет спустя я понял, о чем думал Коля, оставив на месте преступления все улики, которые у него с собой были. Коля не мог не знать, что его поймут. Он знал, но не верил, как не верим мы, что умрем, твердо зная, что этого не избежать. Коля не считал наказание следствием преступления. Одно для него не следовало за другим, а соседствовало с ним. Жизнь его состояла из независимых монад, каждая из которых рождалась и умирала, не оставляя будущему потомства.

Тридцать лет я пытаюсь поставить себя на Колино место, но у меня не выходит, и я пишу о том, чего не знаю, но о чем смутно, чаще во сне, догадываюсь. Я верю в то, что пишу, но не живу по своей вере. На бумаге я воспеваю то, что недоступно мне в жизни: безрассудную удачу, беспредельную свободу, беспробудное пьянство. Шагреневая кожа моих сочинений устроена таким образом, что жизнь ходит за мной по пятам и стирает влажной тряпкой все описанное. Это, конечно, неприятно, потому что пишу я о том, что люблю: о холодной водке, богатых щах и нерушимой дружбе.

Колин суд мне понравился. На процессе фигурировала моя первая статья. «Человек, — писал я в ней, — это *tabula rasa*, на которой оставляет свои скрижали пионерская организация». Статью горячо обсуждали и приобщили к делу как вещественное доказательство мятежности Колиного духа. Но от тюрьмы его спас не я, а возраст. К моменту кражи Коля все еще не был совершеннолетним, и вряд ли он им стал с тех пор, как мы расстались.



Писать я научился раньше, чем читать. Меня обучил грамоте дядя Сема, самый образованный из нашей киевской родни. Мастер игры и виртуоз духа, он был артистом оригинального жанра: играл в шапито на тромбоне. Главным в его номере была выдержка. Как только он принимался играть, на арене появлялся рыжий клоун. Он завидовал дяде,

как Сальери Моцарту, и вел себя не лучше — пихался и толкался, пока от тромбона не отваливался кусок. Но дядя Сема выводил свою песню на том, что оставалось, только октавой выше. Свирепея от обиды, клоун вновь бросался на инструмент, но музыка продолжала жить даже тогда, когда дяде приходилось извлекать ее из огрызка не больше милицейского свистка. Посрамленный клоун убирался за кулисы, а вместо него на манеж выбегала тетя Вера с тремя болонками — по числу граций. Делая вид, что не узнает мужа, тетя Вера пугалась дородного мужчины, свистящего соловьем-разбойником, но собакам он нравился, и они крутились на задних лапах, пока всю компанию не уводил шталмейстер.

Цирк я с тех пор не люблю, но с циркачами дружил, особенно с воздушными гимнастами. По Шкловскому, цирк — публичное преодоление трудностей. Никто не станет смотреть на силача, жонглирующего картонными гириями. Артисту должно быть трудно, а нам страшно. Перемножив обе части уравнения, мои приятели додумались кувыркаться над ареной с тиграми. Расчет был на простодушную публику, но другая в цирк и не ходит. Трапедия висела под куполом, и присутствие хищников ничего не меняло в раскладе: упавшим было все равно, а остальным животные приносили немалую выгоду на заграничных гастролях. Из украденных у тигров костей циркачи с помощью кипятильника варили суп в гостиничном биде. От голода звери делались покладистыми, но вид их все же внушал такой страх таможенникам, что на обратном пути мои друзья прятали в клетке «Плэйбой» и «Раковый корпус». Солженицын, как джин из «Тысяча и одной ночи», возвращался на родину в сопровождении тигров и гурий.

Дядя Сема тоже мечтал о загранице. Он хотел показать свой неустрашимый тромбон Америке — на родине его все уже видели. Притязаниям дяди Семы придавало вес то обстоятельство, что фамилия гремевшего тогда в Нью-Йорке импресарио Сола Юрока лишь на одну — отсутствующую — букву отличалась от той, что носила в девичестве моя ба-

бушка Анна Гурок. Совпадение, однако, оказалось случайным, ибо Юрок пригласил в Америку Большой театр, а дядя остался дома, в длинной, как вагон, квартире. Вместе с женой, собаками и хронически безработной мартышкой он занимал в ней треугольную комнату, лучшая часть которой была отдана платяному шкафу. Его сорванная еще до войны дверь то и дело падала на пол, угрожая прихлопнуть кого-нибудь из питомцев.

В этой огромной киевской семье никто толком не работал. Женщины занимались спекуляцией, мужчины сидели — либо за хищение социалистической собственности, либо за недоверие к ней. Часто это были одни и те же люди, что уже в детстве мне казалось нелогичным. Несмотря на нездоровый образ жизни, все они дожили до старости, в том числе дядя Миша. Вернувшись разочарованным с войны, которую он упорно называл империалистической, дядя Миша навсегда бросил работать. В этой ситуации ему не оставалось ничего другого, как быть нетребовательным в быту. Зимой и летом он ходил в галошах на босу ногу. Чтобы они не спадали с ноги, дядя Миша привязывал их бумажной бечевой, но она так быстро перетиралась, что он выходил из дому лишь к щиту, где власти вывешивали «Радянску Украину». Прочитанным он ни с кем не делился. Убедившись на своем долгом веку, что все газеты рано или поздно становятся запрещенной литературой, он не хотел ставить родственников в глупое положение.

Кроме него, газет никто не читал, но книги были у всех. Их вручали передовикам производства. Наши туда попадали так редко, что бабушкина домашняя библиотека занимала верхнюю полку этажерки, оставляя вдоволь места пузырькам, пилюлям и одноногой Улановой. В фарфоровом кулаке балерина сжимала снабженную линзой фотографию Большого театра, поехавшего в Америку вместо дяди Семы.

Чтобы научить меня читать, он достал букварь по благу. Их продавали только первоклассникам, до чего мне было

далеко. Букварь производил неотразимое впечатление. Его слоговая поэзия завораживала шаманским шепотом: «жи-ши-пиши-через-и». Азбучные мантры будили неведомое, таяли во рту и ровным счетом ничего не значили.

Пижон мог бы увидеть в букваре эскиз обереута, неофиту он нес благую весть. Букварь открывал законы сложения, позволяющие накинуть паутину письма на пестрый хаос вещей и явлений. Мир бесконечен, говорил букварь, но не произволен: в нем может быть все, но не все, что угодно.

Мне хотелось бы прочесть книгу, написанную в тюрьме, гареме, лабиринте, на необитаемом острове, «Титанике», Эвересте, перед казнью, на кресте, под венцом, в колодце, стоя в углу, сидя на горшке или лежа на горошине, но сам я пытаюсь написать что-то бесхитрое: «Маша ела кашу».

Я, впрочем, больше люблю лисички — они не бывают червивыми. За это их прозвали еврейскими грибами. Из лисичек готовилось восхитительное жаркое, но по торжественным дням за столом царила тучная курица. Из-за нее каждый праздник кончался скандалом. Когда птицу разрезали, крылышки доставались дочкам, чтобы убралась скорее из дома, гузка — хозяйке, чтобы она, напротив, не покидала очага, а ножки, считавшиеся лакомыми кусками, кочевали по тарелкам, пока их не выбрасывал в окно обремененный артистическим темпераментом дядя Сема. Как художник, он презирал «еврейский баскетбол».

Кстати сказать, Мандельштам, вспоминая дедушку, жившего на улице Авоту, в двух шагах от нашего дома в Риге, писал, что дед знал по-русски одно слово: «кушать».

Съестного хватало и в букваре, открывавшемся полосатым, как курортная пижама, арбузом. С него начиналось знакомство с алфавитом. Непререкаемость его авторитета не перестает меня восхищать. Из арбузов, барабанов и гусей он составляет ребус просветления. Разгадавшим коан букваря открывается власть над миром, на описание которого русской азбуке хватает тридцати трех букв, а другим — и того меньше.

Задолго до того, как выучил их все, я начал писать свой первый рассказ печатными буквами. Обходясь без «э» и «щ», я ринулся в бой с той авторской самоуверенностью, которую мне с тех пор не удалось вернуть. Но дело шло туго: как и сейчас, мешали буквы, больше всего — «к» и «я». Их конечности выпирали не в ту сторону. Мои первые читатели говорили, что таких нет в русском языке. «В моем — будут!» — отвечал я сквозь слезы. Хотя действие рассказа происходило в джунглях Амазонки, я, считая это глубоко личным, даже интимным делом, полагал себя вправе пользоваться тем языком, которым хотел. «Язык принадлежит всем и никому», — увещевали взрослые, не подозревая, что задают мне задачу на всю оставшуюся после завершения тропического опуса жизнь.

Из рассказа так ничего и не вышло. Он застопорился на слове «металлургический», которое мне не удалось изобразить на бумаге. Думаю, что больше я его ни разу не употребил, но в том первом рассказе оно было совершенно необходимым. Согласно тогдашним моим религиозным убеждениям, которые отличала давно исчезнувшая определенность, в этом слове заключалась власть над всем словарем. Не исключено, что так и было, если вспомнить, что в те годы сталь еще всему была мерой. Metallургия, превращающая холодное в горячее, твердое в жидкое и серое в красное, считалась патриотическим промыслом. Сталь варили в домнах — домах столь больших, думал я, что взрослым пришлось вставить в них лишнюю букву — «н».

Она, кстати сказать, мучала меня не меньше советской власти. Как редкие звери в зоопарке, «н» размножалась когда хотела, причем часто в неподходящих местах: стеклянный, деревянный, оловянный.

Ошибки всю жизнь гонялись за мной орфографическими фуриями. Я пробовал все: зубрил правила, корпел над упражнениями, практиковал исключения. Развивая по методу сюрреалистов навыки автоматического письма, я написал сотни диктантов, познакомивших меня с самыми

скучными страницами Тургенева. Не помогало ничего. Ошибки сторожили меня, как тени в подворотне. Пугаясь неведомого, я падал в грамматическую лужу, поскользнувшись на каком-нибудь незатейливом окончании. Постепенно я примирился с неизбежным. Безупречность уместна в эпитафиях, но только грех порождает живое. Утешившись лживым афоризмом, я почувствовал, что ошибки стали мне физиологически близкими — как почерк.

Самую большую ошибку я делил со всей страной. Я имею в виду субботник. Меня угораздило заразиться им от первой же прочитанной книги — «Первоклассницы» Евгения Шварца. Она открыла мне глаза на то, что и Конфуций называл счастьем, — учебу: свободный труд свободно собравшихся детей. Не зная школы, я ждал ее с трепетом жениха. Сокращая разделявшую нас бездну дней, я — все теми же печатными буквами — выполнял упражнения из учебников моего спортивного брата. Риторические упражнения, которые мне предлагалось переписывать, вставляя пропущенные буквы, искушали категоричностью суждений: «Весна — утро года, а Москва — столица нашей родины». Тире, графический символ вселенского сальдо, подводило черту (продолговатую, а не куцую, как запанибратский дефис) под историей вопроса. Оно выдавало себя за спрессованную сумму предыдущей мудрости. Как квадрат Малевича, оно интегрировало все живое в свою молодцеватую геометрию. Тире перечеркивало сомнения даже тогда, когда про «столицу нашей родины» писали латыши.

Первое знакомство с тире ошарашило меня, как Америка Колумба: мы оба приняли наши открытия не за то, чем они были на самом деле. Чтобы замкнуть земной шар, Колумбу пришлось изъять лишний континент. Поверив тире, я счел возможным принести в жертву краткости длинные растрепанные мысли, которые оно, тире, предательски заманивало, обещая подвести им итог. Беда в том, что спровоцированная тире краткость постепенно обесценивает страницу, как порченная монета. Лаконизм отрывает письмо от мысли.

По дороге к афоризму текст вырождается в тождество, но если одно равно другому, не стоило открывать рта.

Скользя по поверхности, тире мешает сказать, что в глубине покато́й жизни скрыта нежная и нервная сеть мира. Мы бродим над ней, задевая струны то своей, то чужой души, не умея разобраться в тонкой вязи корней, уходящих в плодородную тьму, куда нам никогда не добраться. Иногда эту грибницу называют кармой. Следуя ей, гусары играли в тигра.

Правила этой старинной забавы собирают за круглым столом компанию офицеров. Спустив штаны, каждый привязывает к гениталиям бечевку и пропускает ее сквозь дыру в столешнице. Тщательно перепутав веревки, игроки, дождавшись сигнального клича «Тигр пришел!», что есть силы тянут за доставшийся им конец. Прелесть игры в том, что никто не знает, мучает он друга или врага, союзника или соперника, себя или соседа. За этим столом, в отличие, скажем, от карточного, царит не слепая фортуна, а разумная воля. Держась за нити судьбы, каждый настолько упивается властью, насколько может ее вытерпеть. Такая ситуация освобождает от страха Господня: мы твердо знаем, что наша судьба в наших руках. Жалко только, что это верно для всех, но не для каждого.

Коммунизм, верил я, обрывает связывающие людей путы, чтобы сделать из коллективной пытки субботник. Заменяя Сада Мазохом, он скреплял трудом то, что держалось мезтью. Бескорыстие субботника делает трудовое усилие спортивным, бригаду — командой, цель — неважной. Никто не знает, куда Ленин нес бревно, но видно, что оно ему нравилось. Если разделивший человека конвейер есть ад труда, то рай его — слепляющий нас субботник. Не посягая на личную свободу, он просит ее взаймы — как джазовое трио. Этим субботник напоминает и свальный грех, когда каждый торопится внести свой вклад.

Наслаждаться субботником мне мешала антисоветская агитация и пропаганда, которая велась у нас дома. Как в каж-

дой семье, где уважали Хемингуэя, читали Евтушенко и слушали Высоцкого, отношения с режимом у нас складывались безлюбивые. Ненавидя власть, отец был равнодушен к ее проделкам, но мне советовал держаться от нее подальше.

Подражая взрослым, я перегибал палку. Сторонясь коллектива, я презирал все, что тому нравилось. Мое детство обошлось без пионерского задора: я так кривлялся, что меня публично не приняли в пионеры на торжественной церемонии в Музее революции. Он размещался в Пороховой башне, самом пугающем здании города, если не считать сталинской высотки, отведенной под Дом колхозника, но захваченной Академией наук, где работала моя мама. Что касается построенной крестonosцами башни, то она казалась слишком большой для истории революции, которая в Латвии была существенно короче. В скупо освещенных бойницами залах томилось имущество красных стрелков: ложки, кружки, пулемет «максим».

Сегодня наследство крестonosцев вновь стало средоточием государственности, и там, где раньше был Дворец пионеров, сейчас расположилась президентская резиденция. Первым ее занял Ульманис, племянник довоенного диктатора, по безалаберности — или из прозорливости — сохранивший громкую фамилию. Раньше он служил директором дома быта. Поселившись в крепости, Ульманис начал принимать посетителей. Одним из первых оказался мой знакомый физик, ставший флотовладельцем. Хоть гость давно познакомился с хозяином, заказывая у него брюки, на новой территории встреча проходила церемонно. Из-за шторы выскочил немолодой мужчина, одетый в цвета латвийского флага. Помахав затянутыми в красно-белое трико ногами, он проделал пируэт и согнулся в глубоком поклоне. Герольд, кстати, тоже был не чужим в этой компании. В прежней жизни он служил капитаном ГАИ и штрафовал всех участников аудиенции.

По праздничным дням я не ходил на демонстрацию, помня, чему она посвящена. Других это не смущало. Сбива-

ясь в теплую кучу, они без задних мыслей разливали ситро и портвейн. Чужой праздник прокатывал мимо, цокая копытами и каблуками по нашим сизым булыжникам. Я смотрел на него со стороны, а думал, что свысока.

К субботникам, как и ко всему запретному, меня приобщил отсталый друг Коля. В его дворе с зиявшей воронкой от взорванного нами сарая соседи потерпевшего затеяли клумбу. Отнюдь не угрызения совести побудили нас принять участие в облагораживании пейзажа, обезобразить который нам стоило столько сил и умения. Азарт преобразования окружающей среды не зависит от вектора.

Как всякое дело, субботник начался с того, что взрослые закурили, обмозговывая предстоящее. Взвесив трудности, они скинулись и отправили нас в магазин, снабдив, по малолетству, запиской. Потом, сдержанно отложив принесенное, мужчины принялись рыть, женщины – сажать, мы – вертеться под ногами. Трудно поверить, но от всего этого прямо из неприбранной земли поднималась клумба. Работа спорилась. Всякое – а не только разумное – усилие делало клумбу лучше. Каждая – а не только счастливая – случайность служила ей украшением.

Уже на излете трудового героизма, иссякающего под лучами высокого солнца, согревавшего бутылки, клумбу завершил саженец клена. Мне, как не отличавшемуся от него ростом, доверили воткнуть деревцо в землю.

Навестив клен четверть века спустя, я с трудом залез на него. Дерево выросло таким раскидистым, что на ветках легко было перевешать всех моих противников. Их, впрочем, не так уж много. С возрастом мы делаемся скучнее. Как римляне периода упадка, мы пропускаем вперед представителей продвинутых формаций.

К пятидесяти, почти исчерпав марксистскую хронологию, мы застываем в том снисходительном состоянии, когда, перестав бояться варваров, мы еще не смешались с ними.

К пятидесяти, скрывая отвращение, ты смотришь на наследников. У них все короткое – волосы, мысли, дыхание,

даже застолье. Выхватывая куцые куски настоящего, они забывают о прошлом и не верят в будущее. Шутки их прямы, и всем средствам они предпочитают грубые. Они ценят простоту, быстроту и схватку. Они полны собой, глухи к обидам и цельны, как редиски. Они говорят лишь друг с другом, обходясь птичьим наречием. И ты, как Назон у даков, учишься этому языку у варваров. Заменяв разум рефлексами, они совсем не нуждаются в том, что позволяет тебе овладеть пространством и временем, — в союзах. Считая до трех, они не помнят, что идет за чем и почему. Но, чтобы стать понятным тем, кто не отличает сложноподчиненного предложения от примуса, ты сдаешься их синтаксису, исчерпывающемуся неостановимым, как икота, «и», чтобы обнаружить, что он тебе нравится.

В жизни у меня было немало связей. Застарелая — с прилагательными, случайная — с каламбурами, законная — с глаголами, но только с лысиной пришла любовь к сложносочиненным предложениям. Мысли в них стоят рядом, как взрослые и независимые любовники. Свободный труд свободно собравшихся идей, живущих в простоте. Желательно — на природе. Но и там лучше не писать пейзажи, а подражать им. То, что вырастает из земли, выгорает на солнце, размывается дождем и сохнет на ветру, называется не простым, а элементарным. Но в школе меня этому не учили.

Мою первую учительницу звали Ираида Васильевна. В школу она пришла по призванию, но из органов. У Ираиды Васильевны был стальной взгляд, железная хватка и золотые зубы. Ее единственной любовью был Александр Матросов, и она всех нас хотела бы видеть на его месте. Двоечники внушали ей больше надежд, и она все прощала тем, кто умел шагать в ногу.

Я не умел. Нетвердо отличая левую ногу от правой, я хотел знать, почему первая важнее второй. Я вообще хотел все знать, что даже меня раздражало. Не говоря уже об одноклассниках. Они сделали все, чтобы науки не давались мне даром.

У каждого возраста — своя валюта. У подростков — дружба, у молодых — любовь, у взрослых — слава, у стариков — деньги. Дети, понятно, беднее всех. Они не доросли до символики обмена. Не накопив социальных отличий, они полагаются только на себя и всегда дерутся — как три мушкетера.

Мне это не нравилось. В драке нельзя выиграть. Даже если ты победил, совершенно неясно, что делать с поверженным противником. Я своему — форварду Женьке Устинову — одолжил расческу, но он все равно вырос, спился и умер.



Диплом с отличием мне не достался из-за четверки по атеизму. Я получил ее за богоборчество. «Бога нет», — говорил мне старший брат, но он был двоечником. Из педагогических соображений от меня это скрывали, но я все равно знал, что в школе ему давалась одна физкультура. Гарик хотел стать летчиком, но еще больше ему хотелось поставить три стула друг на друга, выдернуть нижний и посмотреть, что получится. Неудивительно, что Гарик оказался в армии, где его учили не летать на самолетах, а сбивать их, что не привило брату уважения к небу.

Окончательно это выяснилось в Бруклине. Свое первое американское жилье мы сняли в самом центре этого большого, но тесного, как грудная клетка, района. Евреев в Бруклине живет больше, чем в Иерусалиме, поэтому из окна

нашего светлого подвала можно было добросить снежком до любой из четырнадцати соперничающих синагог. Тем более что зима выдалась снежная. Обрадовавшись ей, мы только собрались отмечать праздники, как начались трудности с елкой. Мы ее простодушно называли новогодней, соседи – рождественской. Они же объяснили неуместность христианской флоры в нашем районе.

Чтобы не огорчать их, мы, дождавшись сумерек, отправились за елкой к неграм. Гарик надел на нее мое пальто, и мы побрели домой, держась поближе к стенам. Только на полпути до нас дошло, что со стороны мы похожи на убийц, а вблизи – на сумасшедших.

С тех пор по субботам Гарик жарил картошку на сале, злорадно открывая окно, выходящее на ближайшую синагогу. Евреи, однако, реагировали не так нервно, как ему хотелось бы. В Америке сало едят одни синицы, и то зимой. Зато сало обожали обе мои бабушки. Русская – явно, еврейская – тайно. Первая клала его в борщ, вторая ела так, успокаивая совесть самодельной поговоркой: «Если есть свинину, так уж жирную». В их трагически невинной жизни грехи и соблазны редко выходили за пределы кухни. В Бруклине, впрочем, тоже, если не считать драки, которую учинил ладный Сёня Жуков.

В прошлой жизни Жуков любил танцы. Он был хореографом областного масштаба – ставил пляски на стадионах Полтавщины. Привыкнув к размаху, Сёня мыслил флангами и спал с кордебалетом. Работа не оставляла Сене выхода – в одном только танце «Урожайный» на футбольное поле выходило триста гривуазных колхозниц, наряженных снопами.

Чтобы отвлечь тихую жену Бэллочку, Сёня завел трех сыновей, но это не помогло. Жена затаила обиду на Полтавскую область. Она считала ее рассадником разврата и – заодно – антисемитизма. Чтобы забыли о первом, Сёня напирал на второе. Так семья Жуковых оказалась в Бруклине.

На первых порах им приходилось трудно. Пособия хватало на еду и дешевую водку «Альоша». Из мебели в доме стояла метровая менора, подаренная молодыми хасидами. Они-то и подбили Сеню обратиться к Богу. Хасиды посоветовали Жукову разделить их веру, которая принесет ему духовную радость и материальную выгоду. Уточнив, что хасиды обещают по две тысячи долларов, так сказать, на нос, Сеня предложил Богу не только себя, но и все свое потомство. Выгода казалась ошеломительной, операция – простой.

На праздник, отмечавший удачный исход предприятия, к «Альоше» подавали фаршированную рыбу. Сеня наливал, хасиды не пропускали. Каждую рюмку Жуков деликатно сопровождал тостом о еврейской доле, которую он взвалил на свои украинские плечи. Хасиды кивали, но деньгами не пахло. Когда стали расходиться, Сеня заглянул под менору. Долларов не было и там, зато выяснилось, что на обрезании Сеня сэкономил восемь тысяч. Узнав, что Жуковы стали евреями даром, Сеня вышел из себя, сломал об хасидов менору и перебрался в Канаду. Там он поставил с украинцами Виннипега сатирический гопак «Запорожцы пишут письмо Андропову». Партию запорожцев исполняли терпеливые славистки, которых Сеня не без отвращения хватал за ляжки.

Мы следили за карьерой Жукова из Бруклина, где я, наученный его примером, посвятил Богу свою русскую жену. За семь долларов в час она переводила эмигрантскую брошюру «Шавуот для новых американцев».

Между тем вокруг сгущались тучи. Мы узнали об этом в синагоге, где выступал раввин-боевик Меер Кахане. Гордо неся бремя экстремиста, он охотно делился им с бруклинскими земляками.

– Ребе, – волновались они, – что нам делать с неграми? Они – всюду.

– Пусть у каждого, – гремел Кахане, – лежит под кроватью автомат. Не ружье, не пистолет – автомат!

— А, — с облегчением вздыхала полная Рая из Кишинева, — тогда, конечно, другое дело.

Но Рая, видимо, не завела автомат, потому что, когда пять лет спустя я проезжал мимо нашего прежнего дома, на месте четырнадцати синагог стояло четырнадцать церквей враждующих конфессий.

Негры крестили Бруклин с упорством крестоносцев, но и они не убедили Гарика. «Бога нет», — повторял он, а мне этого было мало.

Отчасти потому, что я его видел — на картинках Жана Эффеля, где Бог в одной рубашке пересказывал Адаму наш учебник «Природоведение». К тому времени я уже перестал его бояться, как раньше, когда мы с бабушкой не отличали Бога от смерти. Чтобы спрятать от нее, я хотел переселить бабушку в наш книжный шкаф с тугими стеклянными дверцами.

Многие мои знакомые так и делают. Они надеются найти Бога в книгах. Евреи, скажем, вычитали себе целую страну. Я был в Израиле. Я видел, что весь он соткан из мечты и преданий. Как Диснейлэнд. Библия служит Израилю строительным проектом. Здесь высаживают только то, что упомянуто в Торе. Ведя происхождение от одной книги, евреи считают себя братьями. Это не мешает им разделиться на сорок колен, когда дело доходит до брака. Отдавая дочку замуж, каждая мать помнит, что зять из Западной Европы лучше, чем из Восточной, что одесситы хуже москвичей, что американские евреи — идиоты, румынские — жулики, польские — воры. Сефарды в расчет не входят.

Стена Плача — единственное место, где евреи опять равны, кроме женщин, конечно. Уже этим оно напоминает баню. Окунувшись в теплые волны благодати, тут отпускают душу на волю. Молодежь неистовствует, как на рок-концерте. Старики посапывают. Одни выпивают, другие закусывают, третьи читают газету, и все ждут чуда, неизбежного, как закат.

Вечерний ветерок, пропитанный духом, словно баба ромом, незаметно обволакивает тело, расслабляет члены и

облегчает сердце. Гаснет зависть, глохнут страсти, меркнут желания. Все, как в парной, становится неважным. Молиться больше не о чем. Присутствие истины неоспоримо, когда ее не ощущаешь, будто теплую воду. Блаженная пауза ждет за воротами, но обычно мы сталкиваемся лбами, когда пытаемся из них выйти. В одиночку легче плакать, чем смеяться.

Правда, друг моей юности Шульман умел обходиться без компании. Он хихикал, листая «Капитал». Защищая марксизм, Шульман настаивал на его более тесной связи с Гегелем, чем утверждали власти.

Подобно многим книжникам Шульман был неопределенного роста и сомнительного сложения. Внешность ему, как кубинским барбудос, заменяла борода. Любимыми словами Шульмана были «возьмем» и «пусть». Первое тянуло за собой второе. То, что бралось ниоткуда, приходилось селить в никуда. Поэтому шульмановские «возьмем» и «пусть» влюбленно кружились в умозрительном вальсе, ни на что, как и сам Шульман, не обращая внимания. Из газеты Шульмана выгнали за то, что он перепутал снимки, выдав делегацию варшавских коммунистов за липайскую ткачиху Майю Капусту.

Лишившись трибуны, Шульман нашел себя в утильсырье. В лавке старьевщика он наконец приобрел власть над бумагой.

— Макулатура, — гордо объяснял он мне, — загробная форма существования книги.

В нашей затейливой, как я теперь вижу, жизни макулатура занимала непомерное место. Бумажный голод жег страну, помешанную на контроле, учете и изящной словесности. Мне тоже довелось участвовать в севообороте знаний, но я приносил с каждого сбора больше, чем уносил. Это пагубно отражалось на моей репутации. Чтобы прибавить ей веса, я подложил в пачку газет домашний уют, но был пойман и наказан — дважды. Это не помогло. Я не мог устоять перед старыми календарями, скабресными выкрой-

ками, амбарными книгами и «Записной книжкой юного снайпера», которую я привез даже в Америку.

Любя книги, я до сих пор их нюхаю. В плотской страсти к духу есть нечто развратное, но евреи часто любят так книги. Попав к букинисту, Шульман ведет себя как слепой в борделе — щупает переплеты, не переставая смущенно улыбаться. В нем говорит генная память о гетто. Молясь о просторе, цадики имели в виду столько места, чтобы разложить книгу на столе, а не коситься в полураскрытые страницы. Вырваться из тесноты можно было, лишь воспарив. Поэтому и у Шагала все летает — люди, дома, коровы.

Аэродинамические свойства книги соблазняли меня с тех пор, как я познакомился со стариком Хоттабычем. Мне тоже хотелось добиться естественного сверхъестественным путем. Скажем, стать невидимкой, чтобы попасть в женское отделение бани. Я еще не видел в чуде насилия над природой и жаждал его, не веря, что жизнь даст сама. «Не насилуй невесту», — писал Горький, зная своих читателей.

Тому же учил мой наставник Пахомов.

«Зачем Бог, если есть пиво?» — спрашивал он.

Русский по душе, происхождению и профессии, Пахомов делал на работе то, чего евреи стеснялись: резал родине правду в глаза. В свободное время Пахомов обижал евреев и завидовал им. Не найдя в себе иудейской крови, он выдавал себя за цыгана. Как и они, Пахомов ни в чем не знал меры. Он обладал тем избытком эрудиции, который Шопенгауэр называл грацией. Зная все, Пахомов ничего не скрывал и никого не стеснялся. Начальники его избегали. Будучи от природы трусоват, он с ними всегда соглашался, но от простодушия мог и зарезать.

— Как я рад, — обращался к нему наш директор с той елейностью, с какой евреи говорят с православными, — что в Кремле вновь звонят колокола.

Забыв задуматься, Пахомов отвечал по-пушкински:

— Кишкой последнего попа последнего царя удавим.

Поклонники Пахомова обожали, особенно сумасшедшие. Среди моих корреспондентов преобладали западники, вроде петербургского доктора, задумавшего стерилизацию всех соотечественников. Пахомову писали патриоты. В том числе орегонский поэт Иван Русский. Его поэма началась с верхнего до: «О, родина! Ты — сука».

Не прячась от славы, Пахомов предавал свою почту гласности.

«Барский голос столичного профессора», — читал я в одном письме, когда меня прервал проснувшийся адресат.

— Сашка, — важно сказал он, — я, кажется, расслабился.

Из штанов и правда капало, но водка не умаляла пахомовского гения. Тем более что чаще он пил пиво.

Всему лучшему в себе Пахомов был обязан книгам, в основном запретным. Его отец начинал телеграфистом, а закончил мэром. Чтобы заполнить пробел между двумя профессиями, ему пришлось овладеть третьей — ненадолго стать конвоиром. Пахомов гордился тем, что отец взял на душу лишь один эшелон.

Принципиальная неопределенность этой русской меры вины напоминает о квантовой механике и удачно вписывается не только в нашу историю, но и в географию.

— Где это, Соликамск? — как-то спросил я из праздного любопытства.

— Две ночи из Перми, — ответили мне.

Пока отца не посадили, Пахомов жил в материальном достатке и интеллектуальной роскоши. Его возили в школу на машине, обитой настоящей, хоть и не человеческой кожей. Молодость Пахомов поделил между пивной и спецхраном. Не отличая одно от другого, он жадно впитывал знания, пока не стал философом. Превзойдя мудростью всю кафедру марксизма-ленинизма, Пахомов остался без работы и уехал в Израиль, точнее — в Нью-Йорк. С тех пор он себя презирал, а других ненавидел. Познав печаль любознательная, он не говорил, как мой брат, что Бога нет, он спрашивал, зачем Он мне нужен.

– Ты хочешь жить вечно? – рычал на меня Пахомов. – Может, ты хочешь, чтобы и я жил вечно?

Не решаясь это утверждать, я, как Хоттабыч, рассказывал про другую, хоть и не потустороннюю жизнь. Но это еще больше бесило Пахомова.

– Не хватать, – стонал он, – может только денег.

Прочитав все книги и не найдя в них ничего путного, Пахомов жил, торопя годы. Смерть пугала его меньше расходов. Она мало что могла изменить. Стараясь ничего не тратить, он ждал старческого бессилия, чтобы покончить и с этой арифметикой. Когда его желание сбылось, Пахомов влюбился, и Бог стал ему необходим.

– Одной природе Бог не нужен, – говорил я себе, глядя на Пахомова. – И мне. Но только днем.

Ночной Бог не имеет отношения к дневному. Возможно, они даже не знакомы. Про ночного Бога ничего не известно, зато дневной хорошо изучен, но опять-таки не мной.

Однажды, решив познакомиться с ним поближе, я отправился в церковь. У нас их две. Одна – протестантская, вторая, победнее, католическая. У католиков всем заправлял толстый, как в «Декамероне», священник. Он походил на тренера и не стеснялся в выражениях. Купаясь в любви паствы, он обещал разобраться с прихожанами на том свете.

У протестантов людей было поменьше. Пастор – стройная негритянка – горячо говорила о производительности труда. Оставалось еще православие, но тут меня шуганули с порога. Над входом висела доска, перечисляющая все, что запрещалось делать в церкви. Даже на глаз в списке было больше десяти пунктов.

Не сумев найти Бога, я решил ставить опыты на животных и в тот же день завел сибирского котенка по имени Геродот. Когда-то у меня уже был кот – Минька. Хотя правильнее сказать, что это у него был я. На двоих нам было пять лет, но он рос быстрее. Минька сторожил меня в темных закоулках нашего бесконечного коридора и гнал до кухни, где я спасался на бабушкиных коленях.

Минька открыл мне зло, на Геродоте я хотел опробовать добро. Я решился на это, хотя коты вовсе не созданы по нашему образу и подобию. У них, например, совсем нет талии. Еще удивительнее, что они никогда не смеются, хотя умеют плакать от счастья, добравшись до сливочного масла. И все же ничто человеческое котам не чуждо. Раздобыв птичье перо, Герка мог часами валяться с ним на диване — как Пушкин. Но я прощал ему праздность и никогда не наказывал. Только иногда показывал меховую шапку, а если не помогало, то зловеще цедил: «Потом будет суп с котом». Чаще, однако, я мирно учил его всему, что знал. Когда он, урча, бросался к кормушке, я цитировал хасидских цадииков:

— Реб Михал говорил, что ты не должен наклоняться над едой, чтобы не возбуждать в себе жадности, и не должен чесаться, чтобы не возбуждать в себе сладострастия.

Стараясь, чтобы Геродот жил как у бога за пазухой, я еще в самом начале объяснил ему суть эксперимента:

— Звери не страдают. Они испытывают боль, но это физическое испытание, страдание же духовно. Оно и делает нас людьми. Значит, задача в том, чтобы избавиться от преимуществ. Мудрых отличает то, чего они не делают. Лишив себя ограничений, мы сохнем, как медуза на пляже.

Услышав о съестном, Герка открыл глаза, но я не дал себя перебить:

— Запомни, мир без зла может создать только Бог или человек — для тех, кому он Его заменяет.

Дорога в рай для Геродота началась с кастрации — чтобы не повторять прошлые ошибки. Спасая кота от грехопадения, мы предоставили ему свободу. В доме для него не было запретов. Он бродил где вздумается, включая обеденный стол и страшную стиральную машину, манившую его, как нас Хичкок. Считая свой трехэтажный мир единственным, он видел в заоконном пейзаже иллюзию, вроде тех, что показывают по телевизору. Но вскоре случайность открыла ему, что истинное назначение человека быть ему тюремщиком. Однажды Герка подошел к дверям, чтобы

поздороваться с почтальоном, и ненароком попал за порог. Он думал, что за дверью — мираж, оказалось — воля.

Геродот знал, что с ней делать, не лучше нас, но самое ее существование было вызовом. Он бросился к соседскому крыльцу и стал кататься по доскам, метя захваченную территорию.

— Толстой, — увещевал я его, — говорил, что человеку нужно три аршина земли, а коту и того меньше.

Оглядывая открывшийся с крыльца мир, Герка и сам понимал, что ему ни за что не удастся обвалить его весь. Он напомнил мне одного товарища, который приехал погостить в деревню только для того, чтобы обнаружить во дворе двадцативедерную бочку яблочного вина. Трижды опустив в нее литровый черпак, он заплакал, поняв, что с бочкой ему не справиться.

Герка поступил так же: стал задумываться. Тем более что, боясь машин, мы не выпускали его на улицу. Это помогло ему обнаружить, что сила не на его стороне. Прежде он, как принц Гаутама в отцовском дворце, видел лишь парадную сторону жизни. Мы всегда были послушны его воле. С тех пор как мы заменили ему мохнатых родителей, он видел в нас своих. Тем более что мастью жена не слишком от него отличалась. Котенком он часто искал сосок у нее за ухом. Но теперь Герка стал присматриваться к нам с подозрением.

Я догадался об этом, когда он наложил кучу посреди кровати. Этим он хотел озадачить нас так же, как мы его. Это не помогло, и Герка занемог от недоумения. Эволюция не довела котов до драмы абсурда, и он не мог примириться с пропажей логики. Вселенная оказалась неизмеримо больше, чем он думал. Более того, мир вовсе не был предназначен для него. Кошачья роль в мироздании исчерпывалась любовью, изливавшейся на его рыжую голову.

Пытаясь найти себе дополнительное предназначенье, Геродот принес с балкона задушенного воробья. Но никто не знал, что с ним делать. Воробья похоронили, не съевши.

От отчаяния Герка потерял аппетит и перестал мочиться. Исходив пути добра, он переступил порог зла, когда нам пришлось увезти его в больницу.

Медицина держится на честном слове: нам обещают, что, терпя одни мучения, мы избежим других. Ветеринару сложнее. Для кота он не лучше Снежневского: изолятор, уколы, принудительное питание.

Когда через три дня я приехал за Герой, он смотрел, не узнавая. В больнице он выяснил, что добро бесцельно, а зло необъяснимо.

Мне нечего было ему сказать. Я ведь сам избавил его от грехов, которыми можно было бы объяснить страдания. Теодицея не вытанцовывалась.

Я обеспечил ему беззаботное существование, оградил от дурных соблазнов и опасных помыслов, дал любовь и заботу. Я сделал его жизнь лучше своей, ничего не требуя взамен. Как же мы оказались по разные стороны решетки?

Этого не знал ни я, ни он, но у Герки не было выхода. Вернее, был: по-карамазовски вернуть билет, сделав адом неудавшийся рай. Он поступил умнее — лизнул руку и прыгнул в корзину. Ничего не простив, он все понял, как одна бессловесная тварь понимает другую.

В тот вечер, не усидев дома, я сел на велосипед и отправился к статуе Свободы. Вода и небо вокруг нее как иллюстрация к Жюль Верну. Парусники, дирижабли, вертолеты, даже подводная лодка, оставшаяся с парада. Статую видно лишь в профиль. Кажется, что она стоит на котурнах, но античного в ней не больше, чем в колоннаде банка. На берегу толпятся туристы. Они все время едят, как голуби.

Солнца уже нет, но дома еще горят, перебрасываясь зайчиками. В темнеющем воздухе ажурные, как чулки, тросы Бруклинского моста висят над водой. Краснорожий буксир тянет к морю мусорную баржу. Навстречу ему шлепает пароходным колесом расплывшаяся «Бубновая дама». Снижаются самолеты, птицы жмутся к воде, последнее облако запуталось в небоскребах. В сумерках дневное безбожие

встречается с ночным суеверием, и тьма прячет довольно-го Бога, потирающего невидимые руки.

Я тороплюсь домой. Чтобы вернуться, мне надо вновь пересечь мост. Пыхтя и потея, я взбираюсь по крутому бедру, пока дорога не становится покатою, и велосипед сквозь забранное решеткой тросов небо катится на Запад. То и дело меня обгоняет молодежь, но я не трогаю педали. Тормозить поздно, торопиться глупо. Впереди уже темно, но сзади, на бруклинской стороне, запылала неоновая реклама журнала пятидесятников: «WATCHTOWER».

– Сторожевая вышка, – неправильно перевел я.



Путешествиям в подсознание меня научил лама Намкхай Норбу, вернее – его бруклинский ученик, психиатр Ник Леви. Американский тезка моего рижского товарища походил на Колю избытком оптимизма. Один не верил в тюрьму, другой – в смерть. Изучив тибетскую «Книгу мертвых», Леви делился загробным опытом. За вход он брал шестьдесят долларов, с пары – сотню. Скидкой, правда, никто не воспользовался.

Среди собравшихся преобладали писатели, рассчитывавшие на экранизацию своего подсознания. Доктор начал сеанс, решительно уложив нас на узорчатые подушки. Потом он велел закрыть глаза и спускаться по воображаемым ступенькам, пока не начнется вымышленный лес. По нему следовало дойти до миражной речки, перебраться на отсутству-

ющую сторону, залезть в несуществующую пещеру, чтобы найти в ней призрачный дар судьбы. Брезгливо проделав требуемое, я с удивлением обнаружил в пещере большой кусок угля. Он оттягивал даже воображаемые руки.

«Антрацит, мудила», — добродушно подсказало подсознание, и я тут же вспомнил одноименный город в Донбасской области. По случаю выходного все его жители гуляли в воскресных костюмах: бумажных тапочках и пиджаках, сшитых из того черного сатина, что шел на трусы, называвшиеся семейными. Выгодный наряд из магазина похоронных принадлежностей не предназначался для долгой носки, но город был небольшим, и ходить по нему, в общем-то, было некуда.

Пропустив мой мемуар сквозь жернова гештальт-психологии и сито ночной йоги, Леви сказал, что уголь символизирует талант, который может разгореться под его руководством. Но я решил сэкономить, обойдясь без посторонней помощи. Тем более что к мистическим опытам меня уже приобщил белорусский буддист Юра Павлецкий, подаривший мне первый том «Древнеиндийской философии», поскольку сам знал его наизусть.

Задумчивый крепыш с волосами цвета картофельного пюре, Юра был художником, но писал исключительно белыми и только коаны. В Гродно его никто не понимал, в Нью-Йорке понимал только я. Свою первую американскую зарплату я обменял на Юрин «Пейзаж № 5». Небольшая картина в светлой раме изображала тень сломанного цветка и сливалась со штукатуркой.

— Это не роскошь, — вкрадчиво говорил Юра, — это — инвестмент. Мой пейзаж отучает от желаний. А то, пока хочешь, всегда не хватает.

Нам и правда всегда не хватало, и я купил картину, но не обрадовал семью. Увидев, что на полотне нарисовано белым по белому, да и то немного, отец рассердился. В Америке он признал бабушкину правоту и картины покупал вместе с мебелью.

Выручки, однако, Юре хватило ненадолго, и вскоре он опять горевал в компании невзыскательного «Альоши». Как это часто бывает, водка поломала Юрину жизнь. Это случилось в воскресенье, когда нью-йоркские законы запрещают торговать спиртным до завершения проповеди. Устав дожидаться, мы отправились за пивом в либеральный Бостон. На крышу гариковской «импалы» Юра погрузил свой «Пейзаж № 4», который я забраковал из-за габаритов. Аккуратно загрунтованная картина скрывала истину. Юра надеялся, что на нее будет спрос в городе, который у эмигрантов считался интеллигентным.

Сняв в «Шератоне» люкс (Гарик забыл сказать, что собирается разделить его с четырьмя обормотами и одним шедевром), мы отправились осматривать город. Шульман предложил начать с базара, Пахомов решил им ограничиться, но я настоял на океанариуме. Торопливо перемещаясь вдоль его голубых стен, мы и не заметили, как потеряли Юру. Он прижался к стеклу, едва успев отойти от кассы.

Моря в Белоруссии нет, с продуктами не лучше. О рыбах Павлецкий судил по кильке. Коралловые рыбки, пестрые и несъедобные, как бабочки, поразили Юру избыточной палитрой. От тропического разноцветья страшные мысли зародились в его белесой голове: у этой картины должен быть автор!

Мучаясь ревностью, Юра пришел к нам со своими сомнениями.

— Павлецкий, — обрадовался Шульман, — ты открыл монотеизм. И правильно сделал! Художник должен карабкаться на следующую ступеньку.

— Пока не выяснит, что лестница приставлена не к той стене, — добавил Пахомов.

Вернувшись из Бостона, Юра впал в буйство. Правда, из незлобивости он пил с Шульманом, а дрался с Пахомовым. Устав от развлечений, друзья посоветовали Юре вернуться в лоно церкви или купить аквариум. Павлецкий послушал-

ся и вскоре уехал с парой меченосцев в Джорданвильский монастырь писать иконы. Через год он вернулся в Гродно, где стал звездой политпросвета, сочно рассказывая о происках американских сионистов.

Оставшись без гуру, я пустился в дорогу. Для начала мне понравилось место с оттенком высшего значения, у лесного водопада: в падающей воде ничего не отражается, кроме света. Усевшись под камнем, разбивавшим струю зонтиком, я почти впал в задумчивость, но мне помешали шаги. Для судьбы они показались слишком громкими. Убравшись в кусты, я с раздражением смотрел на двух тяжело нагруженных мужчин, занявших мое место. Сдвинув очки на лысину, они принялись распаковывать сумки. Я думал, в них закуска, оказалось — тамтамы. Откинув голову к зениту, они принялись колотить по барабанам с такой силой, что не заметили, как я ушел.

Боясь затеряться в толпе анахоретов, я отправился искать менее живописный уголок и нашел его на берегу Гудзона, напротив нефтеперегонного завода. Сев под старую вишню, я удовлетворенно осмотрел уродливый пейзаж, удачно опрокинутый в реку. В отражении все выглядит лучше, так как произведенное нами безобразие разбавляется водой и небом.

Прижавшись к шершавому стволу, я закрыл глаза и вымел из головы все, что осталось от прожитого дня. В образовавшейся пустоте заметался рассудок. Не зная, за что уцепиться, он путался в волосах и отскакивал от зубов. Я ждал, давая ему угомониться. Отделавшись от него, я перестал быть собою, не став, понятно, другим. От этого у моего «Я» прибавилось самостоятельности, которую никак не выразит наш скромный набор местоимений. Как бы там ни было, отпустив себя на волю, я был вправе ждать сюрпризов, но на этот раз пещера оказалась пустой. В дальнем конце ее мерцал сумрак вечера. Сразу было видно, что здесь привыкли обходиться без электричества. Настроив зрение, я разглядел на другом берегу фанзу с красной вороной на

крыше. Пахло, решил я наугад, горящим кизяком. Из-за Гудзона донесся гудок тепловоза, но здесь было по-перво-бытному тихо. Только ворона деликатно хлопала психоделическими крыльями. Чем дольше я пялился на ландшафт, тем труднее было бороться с раздвоением личности. К тому же сзади, с затылка, к нам пристроился третий, без лица, но с голосом. Он шептал что-то расхолаживающее, но мне было уже все равно. Медленно сползая, я перестал вмешиваться в окружающее. Оставшись без дела, я стал тихим и непрозрачным, как вода в луже. И только третий, без глаз, никак не мог успокоиться. Перед тем как занавес опустился, я наконец разобрал две хлебниковские строчки, которые он запихивал мне в темя:

Плеск небытия, за гранью веры,
Отбросил зеркалом меня.

Разбудили меня зайцы. Они выглядели непривычно логично: у больших зайцев уши были большими, у маленьких – маленькими. И те и другие не обращали на меня внимания. Стараясь не мешать зайцам завтракать, я стал распутывать приснившееся.

Как всему мудреному, психоанализу меня обучил Пахомов. За пивом он виртуозно разгадывал сны. В работе Пахомов напоминал мне учебник литературы для нерусских школ. Пахомов тоже не опускался до содержания и формы. Он пользовался Фрейдом, как его отец – Марксом: хватал на лету, смотрел в корень и принимал меры.

– Привиделась мне, – с трепетом начинала малознакомая дама, – радуга дивной красоты...

– Под себя будешь ходить, – тут же все понимал гениальный Пахомов.

С ним редко спорили. Жертвы – из уважения, свидетели – из злорадства. Только мне, как всегда, было мало. Не оспаривая ученого диагноза, я берег его упаковку. Меня интересовала тара сновидения. Следя за фиоритурами подсоз-

нения, я хотел узнать то, что оно говорит, — не обо мне, а о себе, особенно стихами.

«За гранью веры», теребил я поэтическую материю, как бахромку на нашей бордовой скатерти, должно означать, что вера очерчивает круг. За его пределами — море, «плеск небытия». Верить можно только в то, что есть или хотя бы может быть. То, чего нет, не нуждается в вере. Ему ничего не нужно — его же нет. Но поскольку то, чего нет, заведомо больше того, что есть, небытие вмещает в себя все остальное. Отсутствие присутствия недоступно моему воображению, как квадратный трехчлен Чапаеву. Но это еще ничего не значит. Небытие — факт. Хоть не очевидный, но бесспорный. Тем более когда в нем отражается поэт, утверждающий, что небытие — зеркало.

Хлебников эту цепь рассуждений назвал «Моими походами», Коля говорил: «Лекарство от танков: одна таблетка — и тебя нет». Я часто принимаю ее на рассвете, в то прозрачное мгновенье, когда, открыв глаза, но еще ничего не вспомнив, ты отражаешь в себе безымянную елку, смотрящую в окно.

«Хорошо там, где меня нет», — заключил я и собрался в путь.

Зараженный странностями мир входил в норму кобенясь. Бредя по тропе с полоумными зайцами, я наткнулся на парочку. Нежно обнявшись, они закатали рукава и достали шприц.

Прибавив шагу, я догнал молодого человека в диковинной обуви, которую мне пришлось окрестить гамашами. Дело в том, что я не только не знаю, как они выглядят, но никогда и не узнаю этого. Пахомов запретил мне приобретать ненужные знания. Так он звал все, чего не знал, в отличие от того, что забыл. Его нечеловеческий интеллект проявлялся в том, что Пахомова не интересовали частности. Он думал, что кукурузу открыли в Харькове, но знал, что Земля круглая. Об этом он сам мне сказал, когда я спросил, каким градусом помечен Северный полюс.

– Нулевым, – твердо ответил Пахомов.

– А экватор? – не отставал я.

– Тоже ноль, ибо Земля – шар, – отчеканил Пахомов.

Я не спорил. Из всего человечества Пахомов выносил одного меня, и то когда я не умничал.

Это выяснилось после того, как мне довелось объяснить Пахомову устройство дрободелательной машины. В сущности, я был не виноват. Я прочел у Марка Твена, как Гекльберри Финн рассказывает, что Хэнка Банкера похоронили между двух дверей вместо гроба, потому что он расшибся в лепешку, упав с дроболитной башни. Заинтересовавшись технологией изготовления дроби, я узнал, что расплавленный свинец стекает в круглые шарики благодаря силе всемирного тяготения. Я хотел заодно рассказать про всемирное тяготение, но не стал, заметив на губах Пахомова пену.

– Пионер! – хрипел он, потемнев лицом. – У тебя нет святого! Троица для тебя – Том, Чук и Гек. Ты не достоин пить вино моей беседы.

Мы помирились лишь после того, как я пообещал забыть все, что знаю. Избавляясь от искушения, я подарил свою Большую советскую энциклопедию отцу. Ему она помогла бороться с тоской по родине, без чьих преступлений он не мог прожить и дня. В Америке отец скучал по пристрастному взгляду власти.

– Я есть, – пересказывал отец епископа Беркли, – пока за мной следят.

Поэтому он так обрадовался, найдя уже во втором томе статью «Андропов».

Отъезд расколол отцовскую жизнь таким странным образом, что все лучшее и все худшее осталось в России. Ребенком он слал письма Сталину, комсомольцем писал Эренбургу, но, женившись, с трудом дождавшись, как Коля, восемнадцати, отец стал не писать, а читать – журнал «Америка».

После войны на него подписывали, но только дураков. Умные покупали журнал в киосках, читали между строк и

держали на антресолях. Там я его и нашел в припадке макулатурного ража.

Из «Америки» я узнал про американцев не больше, чем из разговорника. Они много ели — первое, второе, мороженое — и часто ходили на работу, в кино и церковь. Следя за этой деятельной жизнью из номера в номер, я и не заметил, как мои герои состарились и стали задумываться о смерти. Это меня насторожило. В моем мире еще никто не умирал, даже голова профессора Доуэля. Я не мог себе представить мертвого иностранца, тем более что и живого я видел только однажды, причем голого, — в душевой турбазы «Репино».

В остальном заморская жизнь отличалась от нашей лишь полиграфией. Глянец придавал всему парадную безжизненность. В кулинарных книгах так выглядят нарядные кушанья («Будто соплей вымазали», — говорил брезгливый эстет Пахомов). Поблескивая молодцеватой гляцевитостью трупа, «Америка» казалась страной мертвых. Реализма в журнале было не больше, чем в «Плэйбое», соблазна — не меньше.

Короче, Америка не убедила меня в своем существовании, и эти сомнения не рассеялись даже после того, как я провел в ней бóльшую часть своей сознательной жизни, не говоря уж о бессознательной. Америка и сейчас мне кажется богатой версией продленного дня — так назывался зазор между уроками и родителями, который бралась заполнять наша школа. Продлить, однако, можно только ожидание, и я живу в Америке, как в комфортабельном тамбуре. Что и неплохо. Искусство жить — это искусство жить в очереди. Хуже, что даже в приемной дантиста мы торопим время, будто не знаем, чем оно кончится. Вспоминая об этом, я стараюсь расслабиться и получить удовольствие на каждой транзитной остановке. Например, в аэропорту.

Аэропорт — дом свиданий, в основном со временем. Ничем не занятая, вычеркнутая из биографии жизнь обра-

щается в испытание чистого бытия. Здесь не курят, не спят, иногда едят, но чаще говорят — не друг с другом, а по телефону.

Мобильный телефон увеличил публичность жизни. Телефонное общение интимно не по содержанию, а по форме: односторонняя беседа похожа на молитву.

Игнорируя посторонних, телефон упраздняет их. В чужой, объединенной лишь расписанием толпе ты не существуешь, пока с тобой не говорят. Вот так для Геродота нет тех, кто не пахнет, — ни теней, ни отражений, ни мультфильмов. Как нейтронная бомба с предельно узкой избирательной способностью, телефон стирает тебя с лица земли. Примерка чужого бессмертия.

Чтобы победить в борьбе с телефоном, нужно перейти на его сторону. Вот пассажиры и трезвонят, чтобы убедиться в собственном существовании.

Мне это не нужно: у меня есть карандаш, и я никуда не хожу без бумаги — блокнот дает мне власть над минутой. «Когда пишешь, не страшно», — говорил Сорокин, заканчивая роман о людоедах. Но чаще писатели пользуются литературой как телефоном: в качестве средства связи — между друзьями, читателями, странами и поколениями.

Я — дело другое. Я вырос в углу — в Америке. Я знал всех своих читателей в лицо, и оно мне не нравилось. Мне до сих пор трудно отдать книжку в чужие руки, и я делаю это лишь тогда, когда убеждаюсь, что меня там уже нету. И это значит, что можно начать все сначала, не обращая внимания на тех, кто будет читать эти строчки, тем более на того, кто их написал.

Я сочиняю только то, что не могу прочесть. Литература кажется мне не общественным транспортом, а личным, вроде велосипеда. Я пишу, о чем не знаю, — чтобы узнать. Теоретически это невозможно, практически — неосуществимо, по-житейски — глупо, материально — вредно. Выходит, что я зря перевожу чернила и стираю грифель.

Впав в гносеологический ступор, я дрожащими руками достал из кармана телефон и набрал скорую помощь.

– Пахомов, – взвыл я, – зачем мы пишем, Пахомов?

– А что ты еще умеешь? – бухнул Пахомов и бросил трубку.



Отец мой всегда стремился к свободе, но часто путал ее с вольностью нравов. Он легко нравился женщинам, потому что был летчиком, вернее, ходил в летной форме. Не стремясь к небу, отец рассказывал о нем курсантам, ценившим его за либерализм и бороду.

Все, что относилось к оппозиции, связывалось воедино в его длинной голове, из-за которой отец казался выше всех родственников, что, впрочем, было не сложно. В его жилах смешалась кровь бедных портных Гуроков и богатых купцов Генисов, которых на Подоле знали с плохой стороны. Они слыли хулиганами. Мой прадед за завтраком выколол вилкой жене глаз. Ссора забылась, а традиция нет. Однажды, еще в Рязани, отец заснул за рулем, произошла авария, и мама потеряла глаз.

От Генисов нам не осталось ничего, кроме странной фамилии. Ее первую букву остряки всегда переправляли на «п». Так я заинтересовался латынью и пошел ее изучать на русское – за неимением классического – отделение филологического факультета Латвийского государственного университета имени Петра Стучки. Сейчас, говорят, из всего

названия уцелело меньше половины. Даже здание расколосось, как дом Эшеров: трещина прошла от крыши до столовой. Но латынь, в отличие от Стучки, на прежнем месте. В мое время она начиналась уже в уборной. Войдя туда впервые, я прочел на стене: «Fortuna non penis, in manu non tenes». Посчитав знакомое слово добрым предзнаменованием, я вышел из сортира с поднятой головой.

Поскольку латынь я открыл вместе с половой зрелостью, то Цицерон мне, как Онегину, нравился меньше Апулея, не говоря уже о Петронии. Вылавливая у классиков пикантности, я купил большой латинский словарь, потому что в малом не нашлось перевода слову *mentula*, которое значит то же самое, что и моя фамилия, когда ее пишут образованные хулиганы.

Античную похабщину отличало от обыкновенной безразличие к греху. Это совсем не то же, что чреватая раскаянием бесшабашность грешника.

Обычно дар безгрешности проявляется в тюрьме и в окопах. Похоже, только там можно научиться встречать день так, как это делал Швейк в полицейском участке: «А здесь недурно, — сказал он потягиваясь, — нары из струганого дерева».

Признавая право пороков на существование, античные авторы исходили из того, что пороки есть и с этим ничего не сделаешь. Неизбежный, как дождь, грех не рассчитывал на искупление, ибо даже боги не могли изменить прошлого, а будущего у древних не было. Вернее, было, но они старались о нем не думать, потому что твердо — в отличие от нас, агностиков, — знали, чем все кончается. Их будущее уже состоялось. Оно ждало их подобно узору, сложенному вечными звездами в черном небе. Понимая, что нельзя исправить свершившееся, они искали к нему удобную дорогу, видя предзнаменование во всем, что встречалось по пути. Не следовать ему означало мешать будущему. Поскольку это никому не под силу, оно все равно свершится, но уже самым неудобным образом.

Суеверия – простая вежливость по отношению к судьбе. Я, конечно, не верю в приметы, но и мне не остается ничего другого, как следовать им, потому что наши боги не говорят по-русски, хотя и понимают.

В Берлине я подружился с одним историком. Как всех немцев, его звали Шиллер. Автор мириада книг, он знал о России несравненно больше моего, и поразить его мне удалось лишь напоследок, когда мы уже выходили с чемоданами из украшенного иконами дома. Прежде чем переступить порог, я машинально сказал:

– Присядем!

– Вам нехорошо? – с тревогой спросил Шиллер.

– Нет, с чего вы взяли?

– А зачем же мы садились?

– На дорогу.

– Чтобы – что? Зачем садиться, если надо ехать?

– Но так принято.

– Я понимаю, что принято, – закричал хозяин. – Я немец, а не идиот, я не понимаю – почему?

– Я не знаю! Деды сидели, прадеды – вплоть до Рюрика, – наврал я для убедительности.

Услышав знакомое, Шиллер затих, но до вокзала шевелил губами.

Я верю в приметы не больше, чем в алфавит. Но и не меньше. Все авторы в душе каббалисты, тасующие знаки в надежде набрести на сокрытую истину.

Как анекдоты, приметы созданы человеком, но неизвестно каким и неясно почему. Анонимность сближает их с религией, таинственность – с поэзией, практичность – с жизнью. Понуждая нас к нелепым поступкам, суеверие, как любовь, рождает собственную логику, притворяющуюся оборонной. Однако приметы не спасают от будущего, а лишь указывают пути к нему. Укрыться от будущего можно лишь в настоящем. Для этого надо по секундам отшелушить от текущего малейшую примесь грядущего. Упраздняя время, человек становится неуязвим и называется буддой, но

такие встречаются редко. Я знаю только одного, из Нью-Джерси.

По-латыни жить мгновением называется *carpe diem*. Я выучил это из Горация специально для несговорчивых однокурсниц. Увы, даже им этот язык казался мертвым. От их равнодушия я лечился по Лукрецию: «доверяя любовные раны доступной Венере». Ими у нас считали фабричных девиц. Коренастые и упорные, они всегда мерзли, потому что одевались согласно намерениям, не зависевшим от сезона. Их мечтой был брак с сержантом. Как белобилетчик, я не представлял интереса, и нам с трудом удавалось скрыть обоюдную ненависть, которая ничуть не мешала искренности моих порывов.

Я не видел в этом противоречия, считая, что девицы владели тем, что, как воздух, принадлежало им лишь отчасти. Бесплатный и невидимый, Эрос помещался не внутри, не снаружи, а между нами — словно надутый шар, твердевший по мере сближения.

Безличность этой, как, впрочем, и любой другой физики, казалась оскорбительной, но не настолько, чтобы ею пренебрегать. Каждый, кто углубляется в предмет своей страсти, теряет представление о времени. Попав в клещи, время маятником марширует на месте, вырабатывая запас настоящего — изрядный, но недостаточный. Наполеон будто бы обещал империю тому, кто сумеет устроить этот самый запас. Но наверняка я не знаю, потому что слышал об этом от Шульмана.

Шульман никогда не врал, но был доверчив. Как должное он принимал даже верблюда, получившего звание Героя Советского Союза за переноску грузов во фронтовой полосе. Шульман верил всему, что слышал или, тем более, читал. Не доверял он только своим глазам. Сырая реальность увиденного казалась ему недоступной. В ней не было сюжета, а нерассказанного для Шульмана не существовало, и путешествовал он, зажмурившись, как выяснилось на Гавайских островах, где я видел извержение вул-

кана. Не полагаясь на политику, он каждый день увеличивал территорию США на три квадратных мили.

Дома, делясь впечатлениями, я огорчил Шульмана.

– Да, – сказал он горько, – это ж надо – такое увидеть.

– Ты ж рядом стоял!

– Ну?! – изумился Шульман. – И тут же обо всем забыл.

Зато ничего не забыл Пахомов. С тех пор он обзывал меня туристом. Сам он знал все, но любил немного. В кино ему нравились мясистые ляжки, в ресторане – тоже, но куриные, хотя критики и называли Пахомова людоедом. Выходя из дома лишь по нужде, он презирал передвижения тела и странствовал умозрительно – чтобы питать сварливую душу. Греков Пахомов уважал за то, что они открыли гомосексуализм. Римлян терпел из-за Бродского. Китайцев боялся, японцев игнорировал. Стоит ли говорить, что пахомовский сын женился на японке, и скоро у них пошли белокурые и узкоглазые дети. Пахомов безропотно гулял с внуками, научившись прятать в коляске пиво.

В отличие от Пахомова мне нравилось все, начиная с государства Урарту, которым открывался наш школьный учебник с фантастическим названием «История СССР с древнейших времен». Экзотика грела надеждой диалога. Мне было все равно, с кем говорить, я жаждал чуда и ждал его отовсюду – от букваря до географии, которую мне уже в первом классе открыли марки. У нас их собирали все, кроме меня: экономя, отец уговорил меня отдаться коллекционированию спичечных этикеток. Они продавались сотнями, но раздражали линючими красками и небогатым содержанием.

Филателистский рынок жался к темным подворотням и проходным дворам. В нем все отдавало беззаконием – сомнительность товара, недобросовестность продавцов, а главное – тариф обмена, приравнивавший три Польши к одному Камеруну. Колонии, понятно, ценились больше, хотя их марки часто изображали каторжный инвентарь. Уганда, помнится, выбрала тачку.

В этих вольных краях мои жалкие этикетки не возбуждали страсти, и меняться ими было решительно не с кем. Попав впросак, я вышел из положения, обратившись к знаниям, которые сделали меня консультантом марочных баронов. Над моей кроватью висела политическая карта, и, засыпая, я зубрил мелкие государства Океании. Зато рыночные законы я открыл сам. Успех коллекционеров определялся богатством и уравнивался силой: лучшие марки доставались предприимчивым и отбирались второгодниками. Я был нужен и тем и другим, ибо знал все страны мира. Без исключения. Я до сих пор помню главный город французской Гвианы, но теперь меня уже некому проверить.

Достигнув вершины, я не ценил счастья и плакал от невозможности увидеть мадагаскарскую столицу Тананариве, хотя Гарик назло мне вычитал в энциклопедии, что она в двенадцать раз меньше Рязани. Я никогда ему не верил и обставлял дальние края согласно собственным соображениям.

Завоевав твердое положение в темных коридорах власти, я злоупотреблял им, создавая собственную шкалу ценностей. Она опиралась на непроверенные слухи об экзотичности той или иной местности. Превосходя меня невежеством, клиенты не смели жаловаться, тем более что сам я марок не собирал и врал бескорыстно.

Как это часто бывает, все погубила свобода. Вдруг рухнули цепи колониализма, и карта мира стала меняться быстрее, чем выходят газеты. Не поспевая за переменами, я сдался, хотя меня и отговаривал Гриша Махлис. Он любил мои домыслы и, пробегая стометровку за двенадцать секунд, наживался на них безнаказанно.

Отец Махлиса был высотником. Где он работал, я не знаю, потому что единственный в Риге небоскреб принялись строить до меня, а закончили после, но до того, как было принято решение его взорвать, чтобы украсить город к юбилею. Так или иначе, старший Махлис был передовиком, а младший — двоечником. Но вскоре судьба перевер-

нула доску, и отца посадили, а сын стал учиться на «хорошо» и «отлично». Грише помогли те же качества, которые погубили его папу, — быстрота и находчивость. Разбогатев на марках, Махлис собрал в нашем классе интеллектуальный кулак, выполнявший за него домашние задания.

Меня Гриша подкупил стержнем от шариковой ручки, которым я написал за него сочинение «Делать жизнь с кого». Гриша хотел про отца, но тот еще сидел, и я предложил профессора Доуэля. Чтобы не спорить, сошлись на Матросове.

Гриша тоже любил риск. В десятом классе он отправился в Сибирь с вагоном подпольных маек. На груди у них было написано Harvard, на спине — Fuck you с ошибками. В Сибири особо не присматривались, и Гриша вернулся с такой прибылью, что на выпускную фотографию снялся в черных очках. Закончив школу, приобретя диплом и подкупив ОВИР, Махлис уехал в Америку, где так свирепо разбогател, что потерял нужду в работе. Оставшись без дела, Гриша вновь взялся за марки, из-за чего вся его бурная жизнь попала в скобки, содержимое которых можно выкинуть из предложения без особого вреда для его смысла. Экзотика, впрочем, на Грише отыгралась: он женился на китайке и научился есть палочками фаршированную рыбу.

Китайцы мне тоже нравились. Они казались марсианами, что не удивительно. Пахомов считал марсианами евреев, Шульман — негров, отец — коммунистов. Каждый населял землю пришельцами, называя своими лишь тех, кого знал, понимал и ненавидел. Остальные были другими — непредсказуемыми.

Любуясь спящим Геродотом, я часто думаю, что настоящего кота от игрушечного отличает лишь способность к произволу. Мы любим его за свободу воли, включая и злую. Гарантированная добродетель безжизненна. Впрочем, вряд ли бы мы стали держать Геродота, если бы он принялся рассуждать. Людей и без того много. Лишь соблюдая в ина-

кости меру (рассыпая крупу, но не играя в карты), кот отрабатывает свое место у камина.

Китайцы блюли иную меру и были другими радикально. Часто наведываясь к фанзе, я никогда не заставал хозяина дома. Постепенно я привык считать ее своей. Мне так хотелось быть китайцем: не пить молока, не есть горячего и всегда отличать Восток от Запада. Если бы я был китайцем, я бы спал в горах, писал стихи на скалах, смотрел, как растут сосны. Не страшась перемен, я бы следил, как вещи жмутся к своему корню. Зная концы и начала, я бы любовался превращениями. Собирая листву, я бы учился мнимости ее беспорядка. Говоря с друзьями, сидел бы поодаль. Я бы жил в окружении богов, которые верят в меня больше, чем я в них. Я бы думал редко и не делал ничего такого, чего делать не стоило. И того, что стоило, не делал бы тоже.

Беда в том, что я не знаю, как живут китайцы, хотя догадываюсь зачем. Единственными китайцами в моей жизни были японцы, но я им об этом не рассказывал. Меня и так прозвали в Токио любопытным варваром за то, что я не боялся ездить в метро.

Ближе всех в Японии я сошелся с переводчиком Сагияки-сан, который просил называть его Семой. Широко понимая славистику, он говорил на всех языках — польском, армянском, английском. С японским было сложнее. Это выяснилось, когда он пригласил меня в свой любимый ресторан «Волга», где мы ножом и вилкой ели борщ и искали общий язык.

— Вы не знаете, — льстиво завязывал я беседу, — как пройти на Фудзияму?

— Понятия не имею.

— А сумо? Вы любите сумо, как я?

— Ненавижу.

— Может быть, театр? Что вам дороже — но или кабуки?

— Ансамбль Моисеева.

— Тогда — природа: сакура, бонсай, икебана?

Сагияки-сан выпил sake, закусил гречкой и ласково спросил:

— Часто водите хоровод? Давно перечитывали «Задонщину»? Играете в городки? Сын ваш — Еруслан? Жена — Прасковья? Сами вы — пскопской?

— Рязанский, — сказал я, приосанясь, но добавить к этому было нечего, и мы перешли на водку.

Домой мы вернулись друзьями. Распевая русскую народную песню «А я Сибири не боюсь», Сагияки-сан с трудом вписывался в извивы дорожки, огибавшей университетский пруд причудливых очертаний.

— Раньше здесь была усадьба самурая, — объяснил вожатый, — жестокий самодур велел придать водоему очертания иероглифа кокоро, что означает «сердце».

Я вернулся к пруду на рассвете. Из зеленой воды выглядывали лобастые золотые рыбки. Возле лотосов плавали презервативы. Мне всегда казалось, что экзотика может что-то прибавить, но тут, скорее, следовало кое-что убрать.

Полнота мира избыточна. Она заведомо больше того, что мы способны понять. Я бы даже сказал, что по-настоящему мы можем познакомиться лишь со съедобной частью мира. И это значит, что нам не дано вступить в плотский контакт с большей частью Вселенной. Однако чем один предел лучше другого? Разве тайна ночью темнее, чем днем? Скорее — наоборот. Во сне мы путешествуем дальше, молчание вмещает больше слов, и нам часто нравится жить ощупью. Я не завидую слепоглухорожденным, но догадываюсь, что их мир экзотичнее Голливуда. Пахомов, отказывавший себе во всем, кроме пива, утверждал, что только ограничения создают человека.

Тем более — женщину. Излишества их анатомии будоражили меня куда меньше того, чего им не хватало. Тайна зияния смущала, как ноль: он был всегда, но не все об этом знали. К нему вели все пути, и все с него начинались. При этом сам он не представлял собой ровно ничего заслуживающего внимания. Зато пышно, как сорняки, цвело то, что

его окружало. Искусная эскалация сулила небывалое, но вела в никуда, ибо конечная цель была, в сущности, началом — именно потому там ничего и не было. Твердо зная, чего лишены, и не твердо — чем обладают, женщины служат рамой пустоте. Приняв облик, мало отличающийся от нашего, они не доступны разуму. Мы наслаждаемся, отдавая. Про них не известно ничего, кроме того, что они другие.

Беседуя с женщинами, я не верил ни одному слову, зная, что затаившаяся в них природа говорит молча и не о том. Прислушавшись, я полюбил женщин целиком, не переставая надеяться, что они с Марса.

Рассчитывая в этом убедиться, я женился.



Над Гудзоном умело парила чайка. Она не уступала напору и не поддавалась ему, а использовала сопротивляющуюся струю, как поэт — язык, чтобы перемещаться в нужном направлении. Дело, конечно, не обходилось без компромиссов, и чайка передвигалась галсами. Идя к цели боком, она все-таки приблизилась к ней, сохранив при этом достаточно сил, чтобы убить угря. Взлететь с ним она не могла, бросить не хотела. Крича от обиды, чайка уселась на труп, не давая ему уйти под воду. Почти тут же к обеду присоединилась соперница. Устав выяснять отношения, чайки ненадолго задумались и открыли коммунизм: они схватили угря за разные концы и дружно поплыли с ним к берегу. Выта-

щив рыбу, птицы с подозрением посмотрели на меня: лиш-
ний рот им был ни к чему, и я ушел, чтобы не мешать пиру.

— Анархия, — сказал я им на прощание, — мать порядка.

Дома я выразил эту мысль следующим образом:

— Ы, потом ыы — и бам!

— Филолог! — сказала жена, но все поняла, ибо, защи-
щаясь от окружающего, мы научились обходиться своим
языком, как пара состарившихся на чужбине Маугли.

По утрам мы ведем чистые беседы. Обычно я сперва
спору, а потом соглашаюсь, не давая ей открыть рта. Но
мы привыкли, потому что познакомились на первом курсе.
Сперва я принял ее за доярку. На ней были практичные
резиновые сапоги. Училась она лучше всех. Ей было все
равно — латынь, латышский, хоть диалектический материа-
лизм, который мне никак не давался. Неосторожно под-
кованный Шульманом, я начинал Гегелем, а кончал двой-
кой.

Теперь-то я понимаю правоту моих учителей. Мне ленин-
ские слова казались сутрой, им — мантрой. Я хотел толко-
вать, они — цитировать. Ревность к чужой мудрости толка-
ла меня ее дополнить, но так можно научиться только тому,
что знаешь.

Ее это, однако, не огорчало, потому что она не принима-
ла всерьез науки, считая их равно бессмысленными и оди-
наково полезными. Веря, что любое знание прорезает из-
вилины, она не отличала астрономию от астрологии и
историю от «Истории КПСС». Я же подозревал истину во
всех предметах, но особенно в устном народном творче-
стве. Во-первых, мне нравилось армянское радио. Во-вто-
рых, нам предстояла фольклорная практика, которую я
предвкушал с томлением.

Вышло так, что на курсе я был единственным мужчиной,
хоть это и сильно сказано. Другим был Шульман, но Шуль-
ман в счет не шел — он слишком рано вырос. Октябренком
Шульман играл в баскетбол. В пионерском лагере отрас-
тил бороду. Он еще не успел стать комсомольцем, как ему

уступали место в трамвае. Однако к восьмому классу он перестал расти и впал в детство. В университете выяснилось, что Шульман разучился плавать и принялся сочинять стихи, что шло только девочкам. Особенно одной. Ее даже звали, как пишущую машинку: Эрика. К тому же на практику Шульмана не пустили родители, так что мне пришлось остаться наедине со всеми девицами. Добром, надеялся я, такое кончиться не могло.

Отведенную на постой школу мы поделили надвое. Мне достался спортивный зал. В одном его углу стояло пианино, в другом — скелет. Сперва мне понравилось, но ночью стало страшно. В темноте чудилось, что сосед пробирается к инструменту. Чтобы помешать этому маршу, я улегся посередине, но стоило мне закрыть глаза, как скелет начинал ворочать черепом. Фольклор добрался до меня раньше, чем я до него.

В темные силы верить легче, чем в светлые, — они подчиняются логике. Нечисть ведет себя как может, Бог — как хочет, а человек — как получится. Ясно, что за первой уследить проще, чем за Вторым. Божий промысел нетрудно перепутать с произволом случая, но домовому всегда чего-нибудь надо. Разбив окно, украв ключи или захлопнув двери, он подталкивает тебя к шагу, полезному для обоих. Собственно, нечисть потому и зовут мелкой, что она выбирает из двух зол меньшее. Как лес кошку, она чует беду и пытается надоумить тех, с кем живет под одной крышей. Занимая промежуточное положение между людьми и животными, она обидчива, как мы, и отходчива, как они. В нее не обязательно верить, главное — не упорствовать в заблуждениях.

Воспитанный в бодром духе советского позитивизма, я отрицал существование всего невидимого, кроме лучей гиперболоида инженера Гарина. Что не мешало мне совершить магические ритуалы, помогавшие дотянуть до утра. Ребенком я обходил трещины в асфальте, в молодости принимал аспирин от похмелья, постарев, стал соблюдать дни

удаления от скверны. Сейчас, привыкнув к нечисти, я доверяю ей больше, чем себе, не говоря уже о знакомых. Но тогда, в пустынном зале чужой школы, посторонний скелет пугал до дрожи в костях. Спасти меня могла только живая душа, готовая разбавить нашу inferнальную компанию. И она появилась. Товарки провожали ее, как Маргариту к Фаусту, но все кончилось хорошо.

С рассветом из забранного сеткой окна открылась Латгалия. Эта покатая страна пользовалась своим языком, который только казался понятным. Так говорил во сне мой спортивный брат – громко, убежденно, бессвязно. Встав с кушетки, он, как Вий, протягивал руку к моему дивану и требовал, чего ему не хватало, а у меня не было. Наяву Гарик всем был доволен, мне же, честно говоря, не нравились обе стороны реальности. Латгалия была ее третьей ипостасью. Поля тут казались живыми, небо – съедобным, а я – таким счастливым, что местные принимали меня за цыгана и прятали велосипеды.

Приезжих здесь не любили. Поделенные между соседями латгальцы были лояльны к любой власти, которая не мешала им доить коров, но как раз с этим было непросто, и хуторяне встречали нас, как тучу в сенокос.

Вспомнив Гоголя, мы начали собирать фольклор с пасечника. Поставив перед каждым корытце такого душистого меда, что его надо было, как одеколон, закусывать хлебом, он послушно объяснил обстановку:

– Видали маслозавод? До войны мой был. Уже сколько лет, как от обузы избавили, а я все не нарадуюсь.

Узнав, что от него ждут другой истории, хозяин с облегчением спихнул нас жене. Петь она согласилась только на огороде, где ее скрывал от позора крыжовник. Начав с Эдиты Пьехи, она быстро заскользила в прошлое. Мы не успели и заметить, как оказались в восемнадцатом веке.

– Живет на острове Венера, – плаксиво выводила старуха, – приходит к ней охотник, гад.

Устав от салонной поэзии, она перешла на загадки:

– Сунул – встал, вынул – свял. Что такое?

Мы молчали, не зная, как это называется в деревне.

– Сапог, – объяснила довольная старушка, дождавшись, пока все покраснеют.

– Ну а это что: разинул мохнатку – засунул голыш?

Догадавшись, что фольклор тоже говорит о любви обидьями, мне удалось найти правильный ответ:

– Варезка.

Разочарованная бабка перешла к былинам, но я уже не слушал. Обуревавшая меня тайна оказалась загадкой, причем немудреной.

В юности похоть занимает все несвободное время, не говоря уже о свободном. Но тогда-то ее и принято презирать. Любовь и желание параллельны уму и красоте: одним гордятся, другое требует оправдания, как все, что достается даром. Становясь постепенно людьми, мы теряем все живое вместе с волосами. Оглядываясь, я вижу только цепь ошибок, но, поскольку не перестаю ошибаться, встать взрослым мне удастся только завтра. Будущее, обгоняя меня на день, стоит одной ногой в могиле, и тайна рождения мне уже не кажется неразрешимой.

Тогда мы о ней говорить стеснялись, сейчас, вроде, готовы, да как-то не о чем. Разве что спросит она меня для очистки совести:

– Какая же это у тебя сексуальная фантазия?

– Нобелевская премия.

– Верю, – отвечает она, закрывая тему.

В Ригу мы вернулись практически женатыми. Точнее – теоретически, потому что в городе нам деваться было некуда. Мы пробовали все – от родства душ до планетария, но дело шло к зиме, и ничего не помогало.

Тогда-то я и решился на взлом. В жертву была выбрана закрытая из-за безбожия лютеранская церковь на набережной. Как вся рижская архитектура, в профиль кирха выглядела готической. Фасад, однако, был более современным: старый портал закрывала сварная дверь. Скучным украше-

нием ей служила надпись, для долговечности выполненная масляной краской. В тексте, естественно, упоминалась моя фамилия, но, в отличие от университетского сортира, здесь ее перевели на русский.

Соблазн, сделавший возможным все предприятие, заключался в том, что вход запирает огромный болт с проржавевшей для надежности гайкой. Старомодная конструкция давала шанс обойти препону и сломить сопротивление судьбы.

Дождавшись безлунной ночи, я назначил свидание у реки. Вместо цветов у меня были с собой разводной ключ, свеча и напильник. Вооруженный, как граф Монте-Кристо, я принялся за свой подкоп к счастью. Дверь не поддавалась ни силе, ни по-хорошему. Уступила она лишь упорству. Наконец, ободрав в кровь пальцы, я вынул штырь из петли, и мы вошли в черную яму проема.

Свет свечи не добирался до далеких сводов, но его хватило на то, чтобы разбудить голубя, слетевшего к нам, как с иконы. Их, впрочем, здесь не держали — церковь была протестантской, и аскетический интерьер составляло ведро со знакомой краской и доски от ремонта.

На следующий день разбуженные происшедшим власти затеяли перестройку церкви в студенческий театр. Он открылся инсценировкой мистической повести «Чайка по имени Джонатан». Ее играл, конечно, Шульман. Чтобы войти в роль, он перестал писать стихи, боясь повредить крыло.

Несмотря на Шульмана, церковный опыт не прошел даром: он наградил меня душевным трепетом. Принято считать, что мужчинам нужна женщина, потому что они боятся спать одни. Но я боялся спать вдвоем. Мне все казалось, что стоит отвернуться, как ее закрытые глаза откроются, как у панночки, — и тогда пощады не жди.

В Риге, правда, все обошлось, но в Бруклине, начав новую жизнь с телевизора, я выяснил из полночного триллера, что делают женщины, когда мужчины спят: пьют их кровь.

В ту ночь я на всякий случай не сомкнул глаз. Клыков в темноте видно не было, но мне чудилось, что она облизывалась.

Мы научились доверять друг другу много лет спустя – от безвыходности, которую Пахомов называет любовью.

– Любишь только то, что не выбираешь, скажем – жизнь, – пояснил он и запел своим знаменитым баритоном: «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно».

– Что «взаимно»? – заинтересовался Шульман, услышавший эту песню впервые.

– Это значит, – сказал я, – что жизнь любит тебя, как ты ее.

– А если я ее не люблю?

– Нравится не нравится – спи, моя красавица, – захохотал Пахомов, цитируя кладбищенский анекдот.

К некрофилии его склонила логика. Пока человек был жив, Пахомову он не нравился, ну а на «нет» и суда нет. Что, впрочем, не мешало Пахомову писать ядовитые некрологи на знаменитых покойников, вроде Лермонтова, у которого он нашел себе эпитафию:

И я людьми недолго правил,
Греху недолго их учил,
Все благородное бесславил
И все прекрасное хулил.

Хотя Пахомов заставил меня затвердить наизусть свою последнюю волю, он не переставал спрашивать, есть ли у меня саркома.

– Нет, – отвечал я виновато.

– The night is young, – бодрился Пахомов и читал «Скупого рыцаря»:

Цвел юноша вечер, а нынче умер,
И вот его четыре старика
Несут на сгорбленных плечах в могилу.

Юнцом для Пахомова был все еще я, но другим в это уже не очень верилось.

Проверяя себя, я вспоминаю каждый прожитый час. В нем нет ничего такого, чего бы не было во мне сегодня. Жизнь зато безнадежно стареет. Мы идем вперед, но Земля, как говорил Пахомов, — шар, и он уходит из-под ног. Мы идем вверх, а жизнь — вбок, и чем больше зазор, тем чище и светлее становится душа, приближаясь к свежести скелета, пугавшего меня в Латгалии. Тогда я еще не знал, что мы носим его с собой и показываем всем, когда скалим зубы.

Юмор — это и есть *memento mori*. Он ставит точку там, где царило многоточие. Поскольку женщины живее мужчин, они обходятся без юмора и не понимают шуток. Я убедился в этом, рассказывая жене, как встретил с Пелевиным конец света.

Он начался с того, что мы договорились созвониться в полдень. Ровно в двенадцать я набрал номер, но вместо гудка услышал бой часов и дыхание: наши звонки встретились в эфире.

— Знаете, Пелевин, — обрадовал я его, — по расчетам богословов в этот год, день и час должен наступить конец света.

На другом конце установилась тяжелая тишина.

— Что это вы молчите? Проверяете?

— Угу, — ответил Пелевин, и мы отправились в тибетский магазин за алюминиевым перстнем с надписью: «Ом мани падме хум».

Той же ночью Пелевин мне приснился в колпаке звездочета.

— Скажите что-нибудь умное, — попросил я его.

— Полугармония.

— Ага, — радостно затараторил я. — Гармония — учение об аккордах. Исключая друг друга, звуки превращаются в тишину, как становятся белым слившиеся цвета радуги. Значит, настоящая гармония — это тишина и молчание. Но по-

лутишины быть не может. Выходит, полугармония – фикция.

– Ага, – сказал Пелевин, благожелательно щелкнув меня по лбу.

– Здорово! – сказала она.

– Что «здорово»? Как я рассуждаю?

– Нет, что Пелевин дал тебе по лбу. Чтоб не рассуждал.

– Но я не могу не рассуждать.

– А если про себя?

– Я же писатель.

– А-а, – вздохнула она, – тогда плохо дело.

Дело и правда было плохо. Мы вступили в серый период жизни, и я, пытаясь узнать, что нас ждет, все чаще приходил к пруду, где живут два карпа. Один – белый, другой – алый, прямо жар-рыба. Привыкнув к людям, они не испугались даже Пахомова, подплыв к нему за крошками. Но Пахомов не любит рыбу, он предпочитает мясо, особенно паштет «Девушка с персиками».

Что касается меня, то на карпов я смотрю прагматически. Мне мерещится в них наше недалекое будущее. Меня оно накажет безмолвием, ее наградит свободой.



Узнав о неминуемой смерти, я собрал семейный совет. Ггарик предложил отправиться в путешествие, жена – дописать статью к ее фотографиям, трезво мыслящая мать – крепко выпить, сын – умереть смертью героя, и только

отец чистосердечно порадовался тому, что он-то уже прожил семьдесят три года, а этого, как говорится, не отберишь.

Никого не слушая, я решил начать новую жизнь, причем с того же, что Петр и Цезарь, – с календаря.

Перебирая варианты, я остановился на эпохе Хэйан. Японцы, которые тогда еще не изобрели гейш, самураев и харакири, вели тихую жизнь: ни с кем не воевали, никуда не ездили, даже рыбу, как медведи, ели сырую. Их календарь мне понравился тем, что, нетвердо отличая день от ночи, он придавал значение одним праздникам.

Теперь мой год начинался с укрепления зубов редиской. В седьмую ночь первой луны наступал праздник Синих лошадей, который отмечался в конюшне. В третью луну я читал стихи змеям, в четвертую – купал Будду, в пятую – пугал злых духов ирисами, в седьмую – посыпал листьями сад, в восьмую – выпускал птиц и рыбок, в девятую – умывался собранной с хризантем росой, наконец, в последнюю ночь года изгонял дьявола, чтобы начать утро редиской.

Новая жизнь не оставляла времени для старой, и вскоре я устал от обеих. С детства мечтая быть иностранцем, я даже не догадывался, насколько это хлопотно. Возможно, потому, что у меня совсем не было опыта. Им обладала только рязанская бабушка. Муж ее слыл румынским шпионом, сестра – немецкой подстилкой, племянник с варяжским именем Аскольд возводил Асуанскую плотину.

Эту ветвь семьи я понимал хуже, потому что был еще маленьким. Все они жили в военном городке Кубинка. Я попал туда на каникулы и сразу погрузился в совершенно новые заботы. Кубинку населяли отставники. На старости их, как всех легионеров, жаловали землей – под огород. Подмосковная почва, однако, была худосочной, и вся местная жизнь вращалась вокруг навоза. Огородники брели за коровами и дрались за каждую лепешку. Понятно, что самой влиятельной личностью в Кубинке был пастух. Хо-

зяин авгиевой конюшни, он гулял по буфету и позволял себе лишнее.

Усилия оправдывал поздний, но обильный урожай. Лучше всего удавалась редиска. К обеду ее подавали в ведре, но на третьей штуке аппетит кончался. От редиски спасались грибами. Собирая их натошак, я научился ценить нашу неказистую природу, где краше всех – поганки. Все хорошие грибы, не считая смазливых маслят, простоваты, как родственники. Одни шампиньоны от лукавого, но их никто и не брал.

Узнав, что я научился отделять добро от зла, пионеры Кубинки приняли меня в тимуровцы. Это тайное, но благотворительное, вроде масонов, общество ставило себе целью пилить по ночам дрова для красноармейских вдов. Но поскольку здешние отставники были по интендантской части, они вовсе не собирались умирать, и мы удовлетворяли тягу к подвигам тем, что обчищали их сады, давясь незрелыми, как наши грехи, плодами.

Я до сих пор не знаю, что побудило дядю Аскольда – взрослые милосердно звали его Аликом – бежать из этого скудного рая в Египет. Возможно, он слышал о скарабеех. Так или иначе, факт путешествия был неоспорим. Потрясенный увиденным, он ни о чем не рассказывал. За него говорили нильские трофеи – крокодиловый портфель и «Запорожец».

Полжизни спустя мне удалось набрести на дядины следы. В Асуане, считавшемся в Кубинке Багдадом, не было даже верблюдов. Спрятанный от греха подальше магазин торговал коньяком на глицерине. На закуску Асуан предлагал финики с налипшей от газетного кулька арабской вязью. Ими торговали завернутые в черные мешки женщины с неожиданно бойкими глазами. От январского солнца не прятались только мальчишки. Распознав знакомого иностранца, они чисто спели гимн советских инженеров: «Напиши мне, мама, в Египет, как там Волга моя течет».

Кроме разговорчивых, как попугаи, детей, память о прошлом хранила единственная городская достопримечатель-

ность – памятник нерушимой советско-арабской дружбе работы скульптора-диссидента Эрнста Неизвестного. Монумент изображал лотос и не слишком отличался от фонарного столба.

Убедившись, что все в Асуане связано с родиной, я отправился обедать в ресторан «Подмосковные вечера», расположившийся в бедуинской палатке.

– Грачи прилетели! – приветствовал меня хозяин по-русски. В пыли и правда ковыляли знакомые по Саврасову птицы. Как американские старухи, они проводили зиму в тепле.

Ресторатору, впрочем, было не до перелетных птиц. Простой феллах, он жаждал мудрости задаром и получил ее в университете Патриса Лумумбы, изучая политэкономиию социализма, разочаровавшую его отсутствием раздела «прибыль». Зато блондинки помогли ему освоить русский язык, но и они не знали рецепта русского салата.

Я признался, что тоже о таком не слышал.

– Этого не может быть! – закричал араб, расплескивая чай из кривого стакана. – Его едят по всей России, только называют по-разному. В Москве – «Фестивальным», в Ленинграде – «Пикантным», на вокзале – «Дружба народов».

Тут меня осенило. Я встал от торжественности и сказал:

– Вы не знаете, о чем говорите. Нет никакого русского салата, есть салат оливье, и сейчас я расскажу, как он делается.

Салат этот по происхождению и правда русский, но, как Пушкин, он был бы невозможен без французской приправы. Я, конечно, говорю о майонезе. Остальные ингредиенты вроде просты и доступны, но правда – в целом, а Бог – в деталях. Прежде всего надо выучить салатный язык. У огурца секрет в прилагательном: «соленый», а не «малосольный», для горошка важен суффикс, чтобы не путать его с горохом, в колбасе ценна профессия – «докторская», картошка годится любая, яйца только вкрутую.

— И это все? — вскричал темпераментный араб, замахаясь на меня счетами.

— Это только начало, — успокоил я туземца, — сокровенная тайна салата — в собранности. Если нарезать слишком крупно, части сохраняют свою неотесанную самобытность. Измельчите — она исчезнет вовсе. Нужна такая мера, когда острое льнет к пресному, а круглое к тупому.

На вид салат кажется случайным, но произвол ограничен искусством. Нет ничего труднее, чем солить по вкусу. Разве что варить до готовности и остановиться вовремя. Мудрость удерживает от лишнего. А ведь хочется! Щегольнуть, например, заемной пестротой креветки. Но улучшать своим чужое — как рисовать усы Джиоконде. Умный повар углубляет, не изобретая, глупый пишет кулинарные книги.

— А кто же такой Оливье? — спросил потрясенный хозяин.

— Сдача с Бородина. Пленный француз, царский повар. Точно о нем известно лишь то, что его не было.

Как и хотелось Неизвестному, мы расстались с арабом друзьями. На память о встрече я даже подарил ему книгу — шедевр своей бедной юности «Русская кухня для чайников».

Мы написали ее с другом наперегонки, страдая похмельем. Неудивительно, что книгу открывал рецепт китайского супа от головной боли. Но тогда я на нее не жаловался. Жизнь была насыщенной, а голова болела только с утра, правда — где бы ни просыпался.

Впрочем, в этих приключениях время бежало так быстро, что дней казалось больше, чем ночей. Возможно, так оно и было. Во всяком случае дневных богов у меня тогда было много, а ночного ни одного.

Когда выпиваешь, откровения следуют без конца, стирая друг друга. Меня это ничуть не огорчало, потому что я черпал убеждения из книг, а их было много. Книги открывали мне глаза, пока их не стало столько, что я смотрел на окружающее со всех точек зрения, кроме своей.

Тогда-то Шульман и рассказал мне хасидскую притчу.

Перед смертью равви Зуся сказал: «В ином мире меня не спросят: „Почему ты не был Моисеем?“ Меня спросят: „Почему ты не был Зусей?“»

Ехидна был прав, и я разочаровался в культуре, решив, что она всегда метафора: одно значит другое. Заставляя нас ходить по кругу, культура позволяет себя узнать, но не понять.

— Верно, — говорил ученый Шульман, — зато религия — это метонимия: одно — не другое, одно — это все, что есть, другого уже и не надо. Чтобы узнать об осени, нужен один желтый лист. И от безбожья избавит одно чудо...

— ...а от одиночества — один марсианин, — согласился я, но не нашел в себе силы поверить Шульману.

Религия требует сверхъестественного не от Бога, а от человека. Она учит нас не бояться смерти, бороться с плотью, верить в загробную жизнь и ни за что не цепляться. Зная, что людям такое не под силу, я отправился к Пахомову.

— Не Бог тебе нужен, а родина, — сказал он, не скрывая моих недостатков, — ты ведь вроде гостиницы в мавританском стиле, которую можно поставить где угодно, кроме Мавритании. Перенимая все, что можно, ты не догадываешься о том, что перенять нельзя. Во мне культура растет, ты собираешь гербарий. Культура как ноги — о своих никто не помнит, а деревянные и не ноги вовсе. Запомни, цитата, культура не бывает чужой.

— А Петербург? — спросил я.

Пахомов небрежно задумался и многозначительно спросил:

— Помнишь Ракитина?

Я помнил. Егор Ракитин был большим человеком — он даже сонеты писал венками. По профессии Ракитин был капитаном недалекого плавания. Надеюсь исправить опечатку, Ракитин стал моржом, чтобы переплыть Берингов пролив и сбежать в Америку. Арестовали его еще на Арбате. На допросах Ракитин столько рассказывал про ООН, что

следователь положился на блатных, раскрыв им тайну предателя. Дело в том, что между русским Егором и славянским Ракитиным втерся бесспорный Соломонович. Когда готовый к худшему Ракитин вернулся в камеру, уголовники набросились на него гурьбой.

— Если распилить алмаз на бриллианты, — допытывались они, — сколько каратов уйдет в опилки?

Тюрьма не отбила в Ракитине охоты к странствиям. Дождавшись детанта, он отправился в Израиль и вынырнул на Гудзоне — без средств к существованию. Скинувшись, диссиденты помогли капитану обзавестись трехместной моторкой. Ее спустили на воду у статуи Свободы, но окрестили «Бабой-ягой».

В память о мытарствах первым рейсом Ракитин отправился к ООН, но в районе сороковых улиц судно дало течь и затонуло на глазах международной общественности. Матросы — жена и дочка — спаслись вброд, Ракитин покинул палубу последним. Выбравшись на берег, он сдался властям, арестовавшим его за загрязнение Ист-ривер. Как и в прошлый раз, ООН не пришла на помощь, и Ракитина выручили соплеменники. Вскоре он уже торговал бриллиантами в хасидской лавочке на 47-й улице. Ракитина там легко узнать по татуировке на морские сюжеты.

Пахомов видел в Ракитине притчу и любил его в качестве блудного сына, но я все же рискнул рассказать ему о попугаях.

Одним погожим днем эти дорогие бразильские птицы, выбрав, как мы, свободу, сбежали из магазина тропической фауны, чтобы поселиться на приволье неподалеку от нашего дома. Но тут подступила зима, о которой в Бразилии и не слышали. Холода надвигались неотвратимо — как ледниковый период, только быстрее. Обреченные на вымирание попугаи эволюционировали, причем залпом. Наперекор Брему они придумали гнездо. Вскоре каждый столб в округе оброс их колючими домами. На снегу изумрудные птицы казались побочным продуктом белой горяч-

ки, и я обещал Пахомову их показать, хотя бы для профилактики.

Пахомов уклонился — попугаи его не убедили.

— Вот видишь, — брезгливо сказал он, — культура — от необходимости, а не от роскоши. Ее выбирают вместо смерти и ввиду ее. Она — последнее слово приговоренного. А ты что скажешь? «Ом мани падме хум»?

Крыть было нечем. Я понятия не имел, чем закончить свои дни. Все важное рано или поздно переставало им быть, и это значило, что последнее слово будет наверняка таким же лишним, как все остальные.

Жизнь моя состояла из пустяков. Существенной в ней была только монотонность. Правда, иногда в бесцветном чередовании дней и ночей мне чудился ответ, но не на тот вопрос, ради которого я собирал фотоальбомы.

Неспособные вынести мерное движение лет, мы изобрели культуру, которая мешает разглядеть монотонность, остающуюся после того, как мы вымели из себя все, кроме дыхания. Только оно — вне культуры.

Мысль — мелодия, ее поют; дыхание — ритм, его мычат. Одно случается, другое сопутствует жизни, ничем не отличаясь от нее.

Дыхание — минимальное условие природы, и главное в нем — парность: ян—инь, сено—солома. Преображающее чудо ритма, рождая из одного два, позволяет нам участвовать в космическом обмене веществ даже тогда, когда мы об этом не знаем. Чтобы дышать, надо жить. И это усилие оправдывает все остальные. Жизнь — крестьянская работа бытия. Все остальное — виньетка на тучных полях мироздания. Будде не нужна культура. Сведя жизнь к дыханию, он открыл в монотонности путь, который никуда не ведет, потому что ты уже на месте и ждать больше нечего.

Лиса, обратившаяся в прекрасную девушку, из злорадства открыла влюбленному в нее китайскому студенту его будущее. Нельзя сказать, чтобы оно отличалось от нашего,

но, узнав, что его ждет, студент пришел в ужас и бежал в горы, чтобы никогда не возвращаться. Оно и понятно. Мы ведь не хотим знать будущее, мы хотим будущее улучшить, но только монотонность позволяет о нем забыть.

Мальчишкой я попал на Белом море в опасное полярное лето. Торопясь им воспользоваться, власти отменили время. Круглые сутки принимались пустые бутылки и сдавались на прокат прогулочные лодки. В три утра девчонки остервенело прыгали через скакалку. В пять вывозили гулять младенцев, и ночь напролет вязали свое старухи. Солнце едва касалось горизонта и зависало над ним. Молочная мгла гасила свет и глушила звуки — кроме рева теплохода «Михаил Лермонтов», везущего на Соловки пьяных безбилетников.

Пробираясь, как они, на север, мы прибились к армейскому эшелону. Бесцельно блуждая по болотам, состав подолгу стоял у трясины, но мы не решались выйти, потому что никто не знал, когда он двинется вновь. Белесая ночь сменяла такой же слепой день, и о ходе времени мы догадывались только по голоду. Путешествие кончилось вместе с тушенкой, и я так и не узнал, куда мы ездили.

— Как ты думаешь, Пахомов, что это было: ад или рай?

— Чистилище, — буркнул Пахомов, уходя по-английски, то есть не расплачиваясь.

Как всегда, он был прав. Я не верю в вечность мук и блаженства, потому что не могу вообразить ничего вечного, кроме пустоты. Впрочем, и ее я не могу себе представить — даже во сне. Тем более теперь, когда подсознание мое обмелело и ночи стали нудным продолжением дней. Надеюсь на большее, я ложусь спать в шорах, залепив уши воском, но мне не поют сирены, и просыпаюсь я, каким был, лишь немного короче.



Письмо из рабочего поселка Златоуст пришло в самодельном конверте из оберточной бумаги. От лучшей жизни на ней остались промасленные следы. Послание обещало сюрпризы. Вложенное плохо сгибалось, и я сперва подумал, что письмо написано на бересте — из патриотизма — или — из желчности — на наждачной бумаге.

Открыв конверт, я достал из него полтора метра густо исписанных обоев. Бросался в глаза заголовок, выполненный губной помадой: «Das Gott».

Приложенная открытка с космонавтами объясняла происшедшее. С начала перестройки в Златоуст не завозили тетради, к концу ее зарплату платили шнурками и водкой. О себе автор писал только необходимое. Мать — учительница, сам — офицер. От Брежнева до Ельцина сидел без особых на то причин. В лагере выучил немецкий («от общего отвращения к жизни») и решил стать нерусским писателем. На свободе стал печататься в газете поволжских немцев, но лучшее приберегает для Запада. Чем, собственно, и объясняется посылка с трактатом. Начинался он смело:

«Добравшись до предела своих возможностей и перейдя его, я понял Бога и оправдал Его. Беда Бога в том, что нам недоступен Его замысел. Мы обречены на страдания, ибо не видим, куда они ведут. Не желая нас пугать, Бог вынужден вести себя так, как будто Его нету. Лучшим доказательством Божьей любви служит твердая решимость ничем ее не проявлять. Такой Бог не отличается от времен года, которые дают всему свершиться, сами ничего не делая.

Жаль только, что у года четыре времени, у людей — три, а у меня одно, и я провожу его за водкой с шнурками».

Надо сказать, что письмо меня не слишком удивило. Хотя в том году свобода победила еще не окончательно, страна уже вновь переживала религиозное возрождение. Журнал «Литературная учеба» печатал Евангелие от Марка. Группа московских авангардистов распространяла коллективное письмо в защиту Богородицы. Один Пахомов, не замечая перемен, сравнивал Христа с Берией. Конечно, в пользу последнего.

Короче говоря, меня смущало не содержание письма, а то, что я не мог передать его адресату.

В жизни я видел только одного бога, и то в Индии, где их больше всего. Мне указал на него велорикша в Бенаресе.

— God! — сказал он, не снимая рук с руля. Но я и так сразу понял, о ком идет речь. Сквозь толпу людей, коров и павианов бог пробирался, как птица в ветках. Я не знал, куда он идет, но было ясно, что это ему все равно.

— Видите, — кичливо сказал возница, — в Индии человек может стать богом.

— У нас тоже, — срезал я его, не вдаваясь в подробности.

Не зная, что делать с письмом, я отдал его Шульману. Бог был по его части.

Шульману письмо понравилось. Он сказал, что офицер наверняка хасид. Шульман их любил за бесповоротность. Остановив весьма произвольно выбранное мгновение, они жили в нем как у бога за пазухой — так, чтоб один день не отличался от другого. Большого Бог им не мог дать, но они все равно просили.

— Проще всего, — учил меня Шульман, — в Бога не верить. Легко в Него верить, ни о чем не спрашивая, но только гордые евреи торгуются с Богом. Это и называется теологией.

Эта наука давалась мне с трудом. Пытаясь исправить положение, Шульман привел меня на семинар Гершковича, венчавший еврейскую жизнь Риги, которая, честно го-

воря, и без него процветала. В основном благодаря молодежи, ходившей в синагогу – на танцы.

Синагога пряталась на Пейтавас – самой узкой улице в городе. В праздник юная толпа заполняла ее, как фарш – кишку. Теснота будила чувства, и разгоряченные «Хава нагилой» консерваторки позволяли больше, чем намеревались. На Пейтавас еврейский Бог вел себя игриво. В других местах о Нем знали, но не говорили – разве что на допросах.

Впрочем, о Нем ведь и сказать нечего. В отличие от остальных у этого Бога нет истории. Лишенный начала, середины и конца, Он живет вне сюжета и этим разительно отличается от тех, кто не способен принять жизнь без фабулы. Зная все, Бог, как Ньютон, не строит гипотез. Мы же только этим и занимаемся. Бессильные представить себе будущее, мы продлеваем в него прошлое. Но завтрашний день переписывает вчерашний, и мы меняем биографию наперегонки с календарем.

Устав от этой спешки, интеллектуальный лидер семинара Чумаков перевернул доску и заменил непредсказуемое будущее невообразимым прошлым. Его любимым жанром была «Жизнь замечательных людей». Хотя людей было много, а Чумаков один, он не смущался разночтениями, выдавая себя за американского шпиона и гроссмейстера сразу. При этом Чумаков не говорил по-английски и играл в шашки – как Ноздрев.

У Гершковича Чумакова уважали: он обещал перевести Талмуд на латышский, а Высоцкого на иврит. Сам Гершкович языков не знал, хотя жил духом и обедал двумя батонами. Он их даже не резал. В остальное время Гершкович выпускал самиздатский альманах «Еврейская мысль», перепечатывая на машинке «Камасутру». Собственно еврейских мыслей было немного, и все смешные – из анекдотов.

На семинаре их из осторожности не рассказывали, а писали, пользуясь особым планшетом, не оставляющим сле-

дов. Текст появлялся, когда матовая бумажка приставала к картонке, но стоило ее отлепить, как написанное исчезало навсегда, не оставляя следов, — разве что в душе. Этим стирающее беседу устройство напоминало сны, но тогда мне было не до них: стояла весна, и приближался Пурим. О нем нам рассказал Гершкович:

— Скрыв национальность, красавица Эсфирь соблазнила царя и пробралась в Кремль. Там ее ждали почести и богатства, но она не забыла своих и помогла им повесить на ветке Сулова и истребить погромщиков — в одних Сузах до пятисот человек. После этого в царстве Артаксеркса полюбили евреев, и ехать им никуда стало не нужно.

Все это не помешало Гершковичу объявить Пурим праздником отказников. В то время так называли евреев, которые стремились с обыкновенной родины на историческую, чтобы воссоединиться с несуществующим дядей и не тосковать по оставленным жене, детям и теще. Дожидаясь разрешения на отъезд, отказники коротали у Гершковича свободные годы, ибо нигде не служили. Хоккеист Толя, например, когда его выперли из команды, стал зваться Нафталией и выучился шить, что раздражало Гершковича.

— Наш Нафталия представляет свое еврейское будущее по-местечковски, — говорил он.

Чумаков для конспирации разгружал вагоны. Однажды он и меня пригласил — на апельсины. Снаружи состав был выкрашен немаркой краской, зато изнутри оранжево пламенел.

— Как в Хайфе, — радовался Чумаков.

Ящики были тяжелые, и мы часто присаживались перекусить. После пятнадцатого апельсина я их возненавидел и никогда больше не ел — даже в тропиках.

Как это водится у настоящих евреев, семинаристы решили отметить Пурим театральным представлением. Роль нашлась каждому. Чумакову дали Библию, назначив суфлером. Амбал Толя играл победоносную Эсфирь. Истощенный Гершкович изображал приговоренный еврейский народ.

Царя, правда, не было, но Шульман нашел выход, ибо был хорошим евреем. Даже слишком, потому что с ним подружился мой тесть с васильковыми, как у врубелевского Пана, глазами. Ладный телом и умелый душой, Спиридон Макарыч любил шахматы и ненавидел евреев, кроме тех, у кого выигрывал.

Забыв Бога и презирая атеизм, он верил только в сионских мудрецов. Антропоморфные, словно олимпийцы, евреи олицетворяли стихию. Могущественные, но не всесильные, они вредили как могли. С остальным справлялось политбюро. Однако не урон, а резон бесил Спиридона Макарыча. Евреи пронизывали мир невидимым излучением, придавая ему смысл и умысел. Под их тайным, как радиация, влиянием жизнь становилась целесообразной: всему находилась причина, ибо за всем стояла выгода. Евреи избавляли вселенную от хаоса, что и делало ее неприемлемой для тестя, и он мстил ей по-своему. Его анархизм носил изуверский характер. Спиридон Макарыч прекрасно понимал, что чистый хаос — тоже порядок. Непредсказуемость вооружает предусмотрительностью и лишает выбора: опоздавшему уже некуда торопиться. Куда опаснее мир, застигнутый в состоянии полураспада. Нет ничего страшнее мнимого порядка, бросающего нас как раз тогда, когда мы решились на него положиться.

Верный своим заблуждениям, Спиридон Макарыч умел делать все, но — наполовину. Взявшись за ремонт, он выкрасил лазоревой краской полкомнаты. Части полуразобранного фотоаппарата годами лежали на комодe, не давая смахнуть пыль, если б такая мысль и могла прийти в голову. На свадьбу Спиридон Макарыч подарил нам четные тома Советской энциклопедии.

Жил он скудно, но и в роскоши себе не отказывал: некрашеную часть пола занимали каминные часы пушкинской эпохи, с окончанием которой они перестали тикать. Решив, что обрюзгшие от хода времени часы стали тяжелы на подъем, Спиридон Макарыч задумал ополовинить

вес главной пружины, распилив ее вдоль. Закаленный металл отчаянно сопротивлялся, и пружина отнимала все его свободное время. Рабочие часы Спиридон Макарыч отдавал рыбалке. Трактовал он ее широко — от перемета до динамита, но всему предпочитал невидимую для рыбнадзора японскую сеть, которую закидывал по месту работы — в грузовом порту. Улов так вонял керосином, что рыбу приходилось сушить, но и тогда при ней было лучше не курить.

Неосторожно породнившись, Спиридон Макарыч врал о добыче с запасом. Будучи уверен, что евреи его все равно обманут, он применял превентивные меры, но без видимых эффектов, потому что евреям редко доверяют глушить рыбу.

Больше всех нас ему нравилась мама — у нее не было глаза. Спиридон Макарыч звал ее адмиралом Нельсоном. Со мной было хуже. Как все антисемиты, тесть дружил только с теми евреями, кто обманывал его ожидания. Шульману повезло: он пил водку и плохо играл в шахматы. Я тоже был не Ботвинник, но Шульман больше походил на еврея, что усиливало радость победы.

Заманивая Спиридона Макарыча на Пурим, Шульман напирал на то, что царь не виноват: он не знал, что Эсфирь — еврейка. К тому же царь обещал ей полцарства. Тестю это понравилось. Особенно когда под видом Артаксеркса решили вывести Брежнева. Если не считать бровей и лысины, тесть на него походил: дородность бывшего спортсмена в соединении с вальяжностью несостоявшегося сановника. Кроме того, Спиридон Макарыч Брежневу все прощал: тот был злодеем наполовину.

Чтобы помочь Спиридону Макарычу войти в роль, Шульман с жаром каббалиста углубился в Библию.

— Книга, бесспорно, имела в виду Брежнева. Об этом говорят обстоятельства времени и места. События разворачивались в двенадцатый год царского правления, то есть сегодня. То же и с географией. Владения Артаксеркса рас-

пространялись от Индии до Эфиопии, другими словами — от Афганистана до марксистской Эритреи.

Но кто же такой сам Брежнев? Непонятый мудрец!

Он взвалил на себя бремя власти, чтобы она не досталась тем, кто мог бы ею распорядиться по назначению. Щадя страну, Брежнев не желает ею править. Чтобы обезопасить власть, он сделал ее декоративной, позолотив себя, как новогоднюю елку. Замаскировавшись орденами, Брежнев стал истуканом, возвышающимся над народом как символ его священного бездействия.

Внимая Шульману, Спиридон Макарыч пришел на премьеру с удочкой.

Пурим, однако, переполнил чашу терпения, и власти погубили семинар Гершковича, отпустив нас на все четыре стороны.

Мы уезжали разом и по-своему. Толя вез мемориальную клюшку и любимые выкройки. Чумаков зашил в воротник автограф Штирлица. Шульман взял с собой книгу Брежнева «Малая земля». Он не оставлял надежды разгадать ее тайну. Зато у Гершковича оказалось семнадцать чемоданов. Два из них занимала бесценная перина.

В Новом Свете все осталось по-старому. Шульман работает Шульманом. Пахомов полюбил его с первого взгляда.

Чумаков по-прежнему выдает себя за шпиона. Он даже устроился в ЦРУ — читать газеты. Однажды он привел ко мне коллег. Пока один выпытывал подноготную, другой попросил сделать телевизор погромче — показывали Микки-Мауса.

Толя тоже устроился по призванию — портным в оперу. В первый день, желая отличиться, он сшил пятнадцать пар безупречных брюк. Через час их привезли из пиротехнического цеха в лохмотьях. Толя не знал, что штаны предназначались хору, от которого сюжет требовал петь на баррикадах.

Даже Гершкович работает по специальности. Он вернулся на родину — читать лекции узникам Сиона. Заканчивает он их всегда одинаково:

– Все говорят: «Брежнев, Брежнев», – а он евреев выпустил.

– Не всех, – вздыхает невезучий Спиридон Макарыч. Врачи отрезали ему ногу. Еще хорошо, что одну.



Я сижу под ивой – копна неспутанных волос. В переплетении веток чувствуется система – достаточно простая, чтобы быть заметной, слишком сложная, чтобы быть понятной. Эта геометрия – не нашей работы.

Хмурый балтийский денек, дачный стол, чистая тетрадь. Я выздоравливал после менингита. Он меня чуть не угробил, зато ни в одну армию не возьмут. В справке так и стоит: «Годен к нестроевой службе в военное время». В мирное и надеяться не на что. В больнице я с таким познакомился – сорок шесть килограммов весу, но упорный: «Мне, – говорит, – врач прописал в день бутылку, иначе умру».

Я выжил и теперь гуляю по пляжу под небрежно заштрихованным небом. В таком пейзаже нельзя заблудиться, но легко потеряться. Простор требует формы. Она – призрак, вызванный ужасом перед нестесненной мыслью обо всем. Форма – крик отчаяния, которое испускает содержание от невозможности высказаться. Не помещаясь в слово, оно выпирает изо рта, как опара из кастрюли. Мычание литературы – мой ответ Керзону.

Я всегда любил книжки, но только в детстве они мне снились – со всеми еще не прочитанными событиями. Иногда

я мечтал, чтобы меня заперли на ночь в городской библиотеке, которая, как многое в Риге, носила имя Вилиса Лациса. Теперь я уже не помню, что я надеялся там найти. Точно, что не истину. Ведь она — то, что есть, а меня интересовало то, чего нет и быть не может. Например, сталинская фантастика, в которой не было денег, страданий и любви, разве что — к родине. Все это заменяла жестяная жизнь, начиненная инструкциями по созданию станков, ракет или пушек.

Всякий записанный опыт отрывается от тела и становится чудной мишурой, нежно шелестящей под пальцами, переворачивающими страницы. Мне было все равно, о чем рассказывала книга — лишь бы не обо мне. Понятно, что прочитанное годилось лишь для того, чтобы из одних книг делать другие. Все по-настоящему важное я узнал в детстве, научившись кататься на велосипеде. Именно кататься, а не ездить. Чем меньше колес, тем необязательней цель передвижения. Автобус ходит по маршруту — на одном колесе катаются в цирке.

Велосипеду меня обучил отец. Этим он завершил мое воспитание, за что я ему до сих пор благодарен.

Мы тогда жили на даче, которая потом стала мемориалом все того же Вилиса Лациса. На самом деле писатель занимал дом по соседству, но после смерти этот автор так вырос, что ему отдали еще один коттедж. Из нашей веранды вышел его кабинет.

Дачный сезон всегда открывал Минька. С приходом весны он писал в школьный портфель, что помогало Гарику оправдывать двойки. Поняв намек, родители отвозили кота на дачу, предоставляя ему находить себе пропитание и развлечения. Когда становилось теплее и мы тоже перебирались из города, Минька встречал нас усталым, но довольным. После бурной весны он отсыпался у крыльца, не глядя на дюжину разномастных кошек, сидящих на заборе в надежде, что он еще проснется.

Начиная лето, как Минька, отец и проводил его, как он, предпочитая, однако, спать в шезлонге, держа на ко-

лениях «Карамазовых», которых он так и не успел дочитать.

Только в старости отец вернулся к классике.

— Знаешь, — спрашивал он меня как филолога, — что у Толстого была тысяча женщин?

Я не знал. Но жалел он меня за другое: я не умел пользоваться дарами природы. Он умел. Говорят, что только пошляки хотят быть счастливыми, но отец не боялся банальности. Оригинальность он считал болезнью, вроде туберкулеза, худобы и таланта. Проведя молодость между Сталиным и Гитлером, он твердо знал, что выжить способно лишь то, что повторяется. Выбирая из длинного списка, отец остановился на женщинах и политике.

Еще чуждый этим увлечениям, я все лето играл в войну. Мы были индейцами, Гарик сражался на стороне партизан. Самым трудным оказалось вырыть штаб в дюнах. Хотя мы укрепляли стены ивняком и прикрывали яму навесом, за ночь песок все равно ее засыпал, и все приходилось начинать сначала. Так я выяснил, что опустошить мироздание труднее, чем его наполнить. За яму нужно было бороться каждый день, зато замки на пляже вырастали по мановению руки, с которой стекали бурые струйки смешанного с морем песка, чтобы тут же застыть игривыми готическими шпильями.

Остальное время я проводил над книгами, еще не зная, что рано или поздно все прочитанное окажется химерой, вроде газа флогистона из ветхого учебника физики. Нет такого знания, которое не стало бы бесполезным. Нельзя вообразить ничего такого, чтобы оно не устарело. Конфуций однажды всю ночь думал и ничего не придумал. Уж лучше, сказал он, учиться.

Езде на велосипеде, добавляю я. Поверить в велосипед возможно только потому, что он есть — хотя и не должен бы. Велосипед стоит на двух, так сказать, ногах, только пока движется. Все равно куда — как жизнь.

Велосипедный навык копится, как святость, медленно и незаметно, пока в один прекрасно неизбежный момент не

наступает квантовый скачок и ты овладеваешь тем, что нельзя ни понять, ни описать — только испытать.

Отныне ты уже не тот и никогда не будешь прежним, потому что нельзя разучиться кататься на велосипеде. Это искусство стало не твоим, а тобою.

Со мной это случилось на приморском бульваре. До меня по нему проехал открытый «ЗИМ» с еще жизнерадостным Хрущевым. Толпа уже рассосалась, но дворники еще не рискнули собрать плоды ее энтузиазма — букеты дешевых в летнюю пору левкоев.

Как обычно, мы с отцом вышли на урок. Он держал велосипед, а я на него взбирался. Как только отец разжимал руки, я падал назад, если дорога шла вверх, вперед, если она спускалась, и на бок, если улица была прямой. Но в тот ослепительный день меня подхватила остаточная волна народного восторга, и я впервые ринулся вперед, подминая собой цветы, как Будда. Забыв страх, я мчался к счастью, зная, что оно не там, куда я качу, а в том — на чем.

Научив всему, что умел, отец перестал обращать на меня внимание. Поделив жизнь между своими и чужими пороками, он не знал, чему отдать предпочтение. За него решила природа. Летом отец грешил сам, зимой следил, как это делает правительство. В его маслянистых глазах власть обладала нестерпимым обаянием — как выгребная яма, куда мы заглядываем с тайным любопытством, зная, что хуже уже не бывает.

Дождаясь лета, отец оскорблял режим, выпивая с диссидентами. Один из них остановил часы в моей спальне. Другой научил меня раскладывать пасьянс. Третий стеснялся сдавать бутылки. Все они звали Солженицына Солжем и к концу любой фразы прибавляли: «вы же понимаете». Отец кивал головой — лето еще не наступило.

Так продолжалось до тех пор, пока я не вырос настолько, чтобы предоставить отцу алиби. Мы собрали рюкзаки и отправились на запад, чтобы посетить государственную границу, пересечь которую уже мечтали, но еще не реша-

лись. В те времена она проходила по гористой местности, которую считали своей сразу все народы предыдущей империи. Из них чаще всего попадались цыгане, охотно принимавшие нас за своих. Остальных отец покорял Высоцким. Только наизусть он знал шестьдесят песен и редко останавливался, не исполнив их все.

Распевая, как Швейк по пути в Чешские Будейовице, мы странствовали по горам, пока не добрались до братской — других не было — границы. За рекой начиналась Европа, правда порченная коммунизмом. Ввиду ее мы раскинули палатку. Ночью нас разбудили танки.

Я никогда не видал войны и не мечтал в ней отличиться, хотя и уважал Александра Македонского как тезку. Может, поэтому танки мне не понравились. Тупо, как лемминги, они шли гуськом к воде по узкой австро-венгерской дороге.

«Смотри, — сказал отец, — вот лицо твоей родины». Он гордился тяжестью ее преступления, о котором скоро забыл, встретив смешливую блондинку, — август еще не кончился. Но для меня — по малолетству — урок не прошел даром, и следующую родину я выбирал с пристрастием. Чаще всего — в музее.

Дело в том, что мне всегда хотелось уйти из этого мира. Я даже не могу сказать, чем он мне не нравился, кроме того, что он этот, а хочется того.

Я догадывался, что мир возможен только потому, что он случаен и непредсказуем. Я знаю, что по расписанию ходили только поезда при Муссолини. Умом я понимаю, что Богу свобода нужнее. Но это не мешает мне мечтать о рабской вселенной, высекшей прошлое и будущее на своих скрижалях, чтобы никогда ничего не менялось, чтобы все уже свершилось, чтобы дни, как звезды, застыли на предназначенном им месте.

Возможно, так оно и есть, но я не знаю об этом, ибо благоволящая к нам природа не дает заглянуть в какую-нибудь будущую пятницу, где я не торопясь умираю от старости. За эту доброту мы расплачиваемся сюрпризами. Раньше я счи-

тал, что они могут изменить жизнь к лучшему. Теперь думаю, что лучше б ей не меняться. Поэтому я и полюбил сидеть в музеях. Пристроившись в уголке, я с завистью пялюсь на запертую в рамках жизнь. Прежде мне нравились пейзажи – сперва городские, потом безлюдные, хотя можно с коровами.

Выбрав картину по вкусу, я вливаюсь в дорожку и жду, пока она не поведет меня за собой в спертый воздух холста и масла. Прикинув время года, направление ветра и угол подъема, я медленно карабкаюсь по полотну, стараясь забыть дорогу обратно. Когда это удастся, я начинаю разливать запахи – чаще неприятные – и звуки – всегда приглушенные. Беда в том, что, разглядывая окружающее, я никогда не вижу в нем себя. Вот почему я перебрался в натюрморты. Учась у мертвой природы, я пытаюсь избавиться от души. Предметом быть проще. У него нет содержания, одна форма, обычно простая. Да и дел у вещей немного: быть собой, оттеняя друг друга в той несложной драме, которую разыгрывает художник. Короче, это работа по мне. Но у меня не получается думать, как у стакана или сливы, потому что они не думают вовсе. Этому можно научиться только у трупа, а до этого все еще далеко.

– Небытие – вид инобытия, – говорит Пахомов, – поэтому тебя туда и тянет.

Сам он и смерти не боится, и жизни не радуется. Не видя между ними особой разницы, Пахомов учит меня безнадежности.

– У Бога, – говорит он со знанием дела, – нет выхода. Он может быть лишь тем, кто Он есть, потому что остальные роли отданы безбожникам. Богу не повезло – Он загнал себя в угол полнотой своего бытия. К тому же Он не может обойтись без человека. Без нас Он не Творец, а с нами – страдалец. Бог не может создать человека добрым, ибо это лишило бы нас свободы. Добро, лишенное выбора, безжизненно, как полено. Отпустив нас на волю, Бог уже не может нам помочь. Он обречен страдать, глядя на муки

им сотворенного, потому что Бог без любви был бы неполноценным кастратом.

Вот и посуди: чем этот немой обрубок лучше нас? Я не говорю, что Его нет. Я говорю, что Он тебе не нужен. Он и себе-то не очень. Но Ему деваться некуда, а у нас есть выход.

Тут Пахомов ласково посмотрел на меня, надеясь, что я тут же этим выходом воспользуюсь. Но я отложил окончательное решение вопроса, надеясь найти прореху.

– Ты, Пахомов, давишь на логику. Но что Богу софизмы? Да и не верю я в твоего Бога. Я верю только в мгновенье. Если извести время в такую мелкую пыль, что в нее не влезет страдание, мы будем спасены от боли. Она прячется в будущем и в прошлом, в страхе и в укорах. Сейчас плохо не бывает.

– Особенно если сидишь на электрическом стуле.

– Подумаешь! Раз – и нету.

Огорченный моим оптимизмом, Пахомов нахмурился. Он боялся электричества, считая его недоступным человеческому пониманию. А все сверхчеловеческое Пахомову было чуждо, ибо мешало пить пиво. Упрощая себе жизнь, он тянул его прямо из бутылки, вставив в горлышко соломинку – чтобы не пенилось.

Сказать нам больше было нечего, и в следующий раз мы встретились только в раю, где все получили по заслугам.

Сперва в Эдеме не было ни души, хотя и пустым его нельзя было назвать. Передо мной, сложив крылья за спину, шли два канадских гуся и один местный индюк. Не находя поводов для знакомства, мы шли вдоль ручья к озеру, не глядя друг на друга. Но потом звери принялись на меня откровенно коситься. Красный карп, в которого я обещал перевоплотиться, от любопытства дал задний ход, энергично работая плавниками. Потом не выдержали черепахи. Старшая, высунув голову с внимательными глазами, глядела на меня не мигая – ей было нечем. Другая, поменьше, растопырила от возбуждения лапы, отчего стала похожей

на геральдический щит. Последней к зрелищу присоединилась змея, высунувшая из воды аккуратную черную голову. Сперва мне немного льстило, что я им так интересен, но потом надоело — будто в зверинце. Хоть деньги бери за вход — только что с них возьмешь?

Впрочем, вскоре мне стало не до фауны — я увидел своих друзей. Избавившись от любопытства, они наконец достигли идеала. Пахомов выветрился в субстанциальную эманацию: без рук, без ног — на бабу скок. Шульман, воплотив мечту каждого книжника о безукоризненной пластике вечно молодого тела, стал гипсовой девушкой с веслом.

Глядя на них, я долго не мог понять, что во мне изменилось.

«Ничего», — дернув меня за рыжий хвост, сказала подсознание, и я заплакал от счастья.

Нью-Йорк,
1999—2001

По всем вопросам, связанным с приобретением этой и других книг
Издательства Ивана Лимбаха, обращаться
в **Торговый Дом «Гуманитарная Академия»**

СПб: Лесной пр., д. 8 (ст. метро «Площадь Ленина»)
тел. (812) 542-82-12; 541-86-39; 172-31-44
(книжный магазин и оптовый склад)

Москва: Волоколамское шоссе, д. 3 (ст. метро «Сокол»)
тел. (095) 158-86-81; 367-06-90; 8-902-172-03-05

E-mail: humak@spb.cityline.ru; gumak@mail.ru

Александр Генис
ТРИКОТАЖ

Художественное оформление *Ю. С. Александров*
Редактор *И. Г. Кравцова*
Корректор *Т. М. Андрианова*
Компьютерная верстка *Н. Ю. Травкин*

Лицензия: код 221, Серия ИД, № 02262 от 07.07.2000 г.

Налоговая льгота – общероссийский классификатор продукции
ОК 005-93, том 2; 953000 – книги и брошюры.

Подписано к печати 13.12.2001 г. Формат 92x108^{1/32}.
Гарнитура FreeSet. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 5. Тираж 1500 экз. Заказ № 331.

Издательство Ивана Лимбаха.
197022, Санкт-Петербург, пр. Медиков, 5.
E-mail: limbakh@mail.wplus.net
WWW.LIMBAKH.RU

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ООО «ИПК „БИОНТ“».
199026, Санкт-Петербург, В. О., Средний пр., д. 86
тел. (812) 322-68-43

ISBN 5-89059-017-0



9 785890 459017 6

